

**КСЕНИЯ
КРИВОШЕИНА**

ОТТАЯВШЕЕ ВРЕМЯ

или

**ИСКУШЕНИЕ
СВОБОДОЙ**



Ксения Кривошеина

**Оттаявшее время, или
Искушение свободой**

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кривошеина К. И.

Оттаявшее время, или Испытание свободой /
К. И. Кривошеина — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906910-73-8

В своих воспоминаниях автор рассказывает о людях, с которыми свела её жизнь, многие из них имеют мировую известность, их судьбы высвечивают то время, о котором тосковать не нужно, но и забывать не следует, перед многими из них следует склонить головы за их мужество. Некоторые из них прошли советскую «закалку», кто-то был арестован и выслан на Запад, а кто-то остался в России. На страницах этой книги вы встретите пианиста Святослава Рихтера и композитора Андрея Волконского, художников Николая Акимова, Натана Альтмана и Оскара Рабина, поэтов Анну Ахматову и Иосифа Бродского, известных и малоизвестных деятелей русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-73-8

© Кривошеина К. И., 2017
© Алетейя, 2017

Содержание

Введение	6
Часть 1. Русская рулетка	7
Мой дед Иван Ершов	7
О моей бабушке	14
О моих детстве и юности	18
И опять о бабушке...	23
То, что случилось с моим отцом в 1941 году	27
Шестидесятые	30
Шальная любовь	34
Неожиданное путешествие	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Ксения Кривошеина

Оттаявшее время или испытание свободой

© Ксения Кривошеина, текст, составление, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб), 2017

* * *

Введение

Я родилась в Ленинграде, застала страшные сталинские годы, оттепельные хрущевские и застойные брежневские, вернулась первый раз из эмиграции уже в Санкт-Петербург. Двадцатый век России стал тяжелым испытанием для всей страны, для каждого человека по-своему: искушения, подвиги и предательства выявились во всех слоях общества. Казалось, что народ никогда не оправится. Очень медленно, но травка стала пробиваться из-под асфальта, и за последние десятилетия живое слово, творческая энергия во всех областях показали, что надежды на возрождение не были напрасны.

Советская интеллигенция была разная. Та, которая шла «в ногу и в строю», получала хорошие заказы, квартиры, машины, дачи и прочие блага, но должна была отрабатывать, платя за всё это совестью. Новая власть уже в начале двадцатых годов поняла, как и чем можно купить или перекупить интеллигенцию. Революционные поэты, писатели и актеры были убежденными ленинцами, а потом сталинцами (правда, многих все равно расстреляли). Были и «прозревшие», кто не хотел или не мог через себя переступить, некоторые находили возможность жить двойной жизнью.

Все были заложниками системы, а как только выбивались из официальной линии, сразу делались изгоями. Попытка стать хоть немного свободней приводила к большим испытаниям. Наши «органы» не дремали: всех брали на заметку, борьба с «формализмом» не прекращалась; а потому не у всех хватало смелости отказаться от предписанного метода и переквалифицироваться из писателя в кочегары (были и такие). Годы шли, и многим стало ясно, что они живут в сговоре с совестью и с постоянным страхом.

Несмотря на тотальную цензуру, в СССР появились художники, литераторы, музыканты, которые решили попробовать свои силы в чем-то ином, чем соцреализм. Творцы – те, которые сочиняли не «как надо», а работали «за шкаф» и «в стол» – в основном жили бедно, в коммуналках, в заграникомандировки их не пускали. Те далекие хрущевские «оттепельные» годы закончились по-русски – зимней слякотью. Но ветер, подувший после смерти Сталина, принес перемены.

К 1990 году у людей, проживших в стране Советов в полной изоляции от другого мира, не понимавших, что такое рыночная экономика, лишенных права собственности, свободы вероисповедания, свободы творчества, накопился колоссальный заряд энергии – набрав воздух всей грудью, им хотелось одним махом перепрыгнуть пропасть и забыть СССР навсегда. Но этого не случилось, а по прошествии двадцати пяти лет новой России мы, оглядываясь назад, начинаем осознавать, как трудно преодолеть эти годы жизни при советской власти. Теперь появились люди, которые ностальгируют уже даже не по Брежневу и Хрущеву, а по товарищу Сталину!

В своих воспоминаниях я рассказываю о людях, с которыми свела меня жизнь, многие из них имеют мировую известность, их судьбы высвечивают то время, о котором тосковать не нужно, но и забывать не следует, перед многими из них следует склонить головы за их мужество. Некоторые из них прошли советскую «закалку», кто-то был арестован и выслан на Запад, а кто-то остался в России.

На страницах этой книги вы встретите пианиста Святослава Рихтера и композитора Андрея Волконского, художников Николая Акимова, Натана Альтмана и Оскара Рабина, поэтов Анну Ахматову и Иосифа Бродского, известных и малоизвестных деятелей русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке.

Часть 1. Русская рулетка

«...и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.»
Молитва Господня



Мой дед Иван Ершов



Мы живём во времена ускорений, и события мелькают перед нами, как на плёнке старого чёрно-белого кино. Двадцатый век закончился, он принес нас на границу бездны и страха за будущее, забывая по пути ушедших героев и знаменитостей, политиков, президентов, генералов и актёров... а заодно события важные и менее значительные.

Вот, к примеру, идём мы по улицам, которые названы в честь знаменитостей, и ловим себя на том, что порой даже не помним, о ком идёт речь, кем были эти люди. А задумчиво стоящие и сидящие люди, отлитые в бронзе, восседающие на конях, застывшие с простертыми в небо руками – кто они? Если не подойти к памятнику и не прочитать, то так и не вспомнится, а может и не узнается никогда, зачем и кому воздвигнуто это бронзовое изваяние.

На улице Гороховой, дом четыре, в Санкт-Петербурге висит большая мемориальная доска, на ней написано, что здесь «...жил знаменитый певец Иван Васильевич Ершов». На фасаде этого дома ещё ряд мемориальных досок, в основном актёрам – ведь здесь когда-то жило много прославленных людей.

Я родилась в квартире, расположенной на пятом этаже (предпоследнем), занимавшей пространство по всему периметру дома. Дед хотел видеть небо и простор, но, к сожалению,

вид из окна был не на Александрийский шпиль, а во двор-колодец, довольно мрачный. Вся анфилада комнат соединялась огромным коридором, по которому я совершила первые шаги, а уже позже каталась на велосипеде. У меня с детства сохранилось ощущение таинственности нашей огромной и во многом «сказочной» квартиры. Все стены комнат и коридора были завешаны сценическими фотографиями деда и бабушки в ролях, картинами самого деда, скульптурами Кустодиева (он лепил и рисовал его), рисунками Репина, эскизами костюмов Бенуа... В квартире было три рояля, завораживающий меня в детстве инструмент фисгармония, нотные шкафы до потолка в пять метров высотой. Здесь же на кушетках и креслах валялись шкуры, мечи и щиты Зигфрида, гусли Садко, многочисленные гримёрные ящики и масса зеркал самых разных форм и размеров. Атмосфера и температура этого накалённого пространства творческих деяний сохранялась очень долго, вплоть до смерти бабушки в 1972 году.

Моя бабушка, Софья Владимировна Акимова-Ершова, была партнёром деда по сцене, его концертмейстером, профессором по классу вокала в Ленинградской консерватории. Их романтическая встреча в Лейпциге и продолжение встреч в Мюнхене, любовь, сложные и вулканические отношения... сравнялись и упокоились в одной могиле в Александро-Невской Лавре. Бабушка была второй женой деда (а он вторым её мужем), разница в возрасте почти в тридцать лет, сословное происхождение, над которым дед подсмеивался всегда. Бабушка вышла замуж против воли своих родителей и первого мужа, А.С. Андреевского (он был сыном известнейшего адвоката и криминалиста С.А. Андреевского). В период развода с бабушкой он чуть не застрелился от горя. Как часто в жизни бывает, парадокс заключался в том, что Андреевский сам обратил внимание молодой начинающей певицы (своей жены) на И. Ершова. При первом же их пребывании в Германии Андреевский рассказал ей о русском артисте Иване Ершове, «который, по его глубокому убеждению, даже в самой Германии не имел себе равных в исполнении партий героев вагнеровских опер». Софья Акимова-Ершова стала постоянным партнёром Ивана Ершова по всему вагнеровскому репертуару. Работая над исполнением образов вагнеровских драм, они старались не пропускать возможности побывать в исторических местах, отображённых в произведениях Вагнера. Бабушка совершенно свободно владела немецким языком, а дед выучил не только немецкий, но и итальянский. Оба они жили ещё в той жизни, когда слова «служение искусству» не были превращены в нечто банальное и не воспринимались как высокопарность. Это было настоящим служением – не во имя славы, а сознательным несением своего дара Божьего людям. 25 октября (7 ноября) 1916 года у них рождается сын, (мой отец) которому Иван Ершов и Софья Акимова дали имя Игорь, в честь любимой оперы Бородина «Князь Игорь».

Об Иване Ершове написано много книг, статей, а в 1999 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Композитор» вышло второе дополненное исследование профессора А.А. Гозенпуда. Этой книге он отдал почти десять лет, она наполнена фотографиями и большими серьёзными исследованиями творчества деда. Помню, как он много и дотошно работал с архивами, расспрашивал моего отца, учеников деда. Профессору А. Гозенпуду сегодня уже далеко за девяносто лет, но ещё совсем недавно в Париже я видела его по телевидению в фильме, посвящённом С.С. Прокофьеву, он замечательно говорил, и глаза его горели молодостью.

Мой дед скончался в 1943 году, а я родилась в конце сорок пятого, так что лично деда своего я не знала. Но, тем не менее, я выросла в атмосфере поклонения таланту гения Ершова, Мой отец на протяжении всей своей жизни так и не смог справиться с сыновним комплексом великого отца, хотя унаследовал прекрасный голос, внешность, пропел на сцене Малого оперного театра два сезона (особенно он был хорош и красив в ролях Куракина и Дон Жуана), но выбрал всё же путь художника.

Но вернусь к деду. Он родился 21 ноября 1867 года на хуторе Малый Несвятай около Новочеркасска. Его мать была крепостной батрачкой у местного барина, и мальчика она прижила от него. Детство деда проходило в постоянных побоях и унижениях, мать иначе как

«выблядок» мальчика не называла. Удивительно, что дед до конца своих дней обожал и жалел свою «маточку», как он её ласково называл. Уже поступив в Петербургскую консерваторию и получая жалкую стипендию, сам едва сводил концы с концами, болел туберкулёзом, но посылал ей деньги и ласковые письма. В 1883 году он поступил в железнодорожное училище в Ельце, где получил диплом машиниста. С раннего детства в господском доме своего «отца» мальчик слышал фортепьяно, и, обладая абсолютным слухом, многое из услышанного знал на память. Работая на железной дороге, он участвовал в выступлениях ученического хора и пел в церкви. Так он и привлёк к себе внимание местной знати, купцов и местных меценатов. Слава об одарённом юноше быстро распространилась, его стали приглашать на вечера, устраивали импровизированные концерты... и в один прекрасный день (а он запомнился деду на всю жизнь) ему было объявлено, что на собранные купцами средства его отправляют в Петербург, поступать в Консерваторию.

В 1888 году молодой человек приехал в столицу и на вступительных экзаменах предстал перед самим Антоном Рубинштейном и Станиславом Габелем.

В своих воспоминаниях (не опубликованных) дед изумительно живо описывает это прослушивание. Он был буквально потрясён колоритным обликом Антона Рубинштейна, и когда «...он обернулся ко мне и бросил на меня свой изумительный взор... Ой, меня так и потрянуло. «Ну, так что же, Вы с паровоза и хотите на оперную сцену? Хорошее дело!» – смерил меня с головы до ног и говорит: «Ну, дайте себя послушать, что у Вас есть? Есть ли с Вами какие-нибудь ноты?»

Нот не было! Была только музыкальная память, абсолютный слух да смелый дерзновенный характер, но сердце его от слов А. Рубинштейна ушло в пятки. Молодой человек больше всего тогда любил петь Шуберта и сказал, что споёт романс «Прости». Дед не знал, что это был настоящий подарок для А. Рубинштейна «Много позже я узнал, что Антон Григорьевич очень любил Шуберта. «Каковы же были моё удивление и испуг, когда он, взявши ноты, сам пошёл к роялю аккомпанировать мне!» Затем Ершова спросили, знает ли он что-нибудь из арий, и он, волнуясь, сказал, что на память выучил арию Ионтека из «Гальки». Станислав Габель так и вспыхнул! Только потом молодой человек узнал, что Габель был учеником Мицкевича. По всему было видно, что и исполнением и его диапазоном голоса оба маститых мастера остались довольны. Ершова попросили выйти из комнаты и после маленького совещания его позвали. Антон Григорьевич «С благожелательной улыбкой и величайшей простотой сообщил: «Я знаю, что у Вас нет средств. Вы будите, приняты, Вам дадут бесплатный обед и 15 рублей стипендии»

После этой радостной вести Ершов вышел со слезами на глазах. Так начался долгий славный путь Ивана Ершова, в будущем прославленного солиста Императорского Мариинского театра. Среди великих мастеров русского оперного театра он занял одно из самых почётных мест. Вся его творческая жизнь прошла в Петербурге, Петрограде и затем в Ленинграде. Здесь мне хочется напомнить некоторые впечатления его современников: так со слов певца и мемуариста С.Ю. Левика «...Ершов сверкал духовной красотой. Если на чьём-либо челе можно действительно увидеть печать гения, то эта печать ярко горела на челе молодого Ершова». В 1895 году он был принят в труппу Императорского Мариинского театра, на сцене которого прошла вся сценическая жизнь Ершова и где он приобрёл настоящую славу. По всему складу человеческому и артистическому он отличался от певцов-теноров предшественников и современников. Никто в то время (в опере) особенно не думал о создании настоящего драматургического образа, оперный певец должен был хорошо выпевать ноты, по возможности не фальшиво, и мало передвигаясь по сцене, быть послушным инструментом постановщика и дирижёра. А для Ершова настоящей стихией и страстью была героика, трагедия с огромной силой он передавал мужественность, благородство, страдание и боль.

Впервые на сцене появился тенор, который обладал поразительным декламационным искусством, пластикой жеста, эмоциональным проникновением в каждую исполняемую роль.

Широта репертуара поражала разнообразием и тонкостью «окрасок» характеров героев – мудрость Финна, героизм Зигфрида, страх смерти Гришки Кутерьмы, бесчеловечность Коцея Бесмертного... В 1916 году в Москве на сцене Большого театра в «Сказании о невидимом граде Китеже» зрители впервые увидели и были потрясены его исполнением роли Гришки Кутерьмы. Это была настоящая драматургия в сочетании с огромным певческим диапазоном.

В том, что дед мог так глубоко и разнообразно представлять «другую» оперу во многом было определено его всесторонней одарённостью. Он был Артист в полном объёме этого слова: прекрасно рисовал и писал маслом, был скульптором и много работал над гримами (он всегда гримировался сам и создавал «костюм-образ»), впоследствии стал оперным режиссером и учителем сцены, наставником и основателем Оперной студии при консерватории. И внешне он был красив и величественен. Поклонник имел массу, и до сих пор у меня хранится альбом с дарственными надписями и признаниями в любви под фотографиями красавиц.

Слухи о необыкновенном артисте оперы дошли до Европы, его стали приглашать на гастрольи.

В 1901 году Ершов получает приглашение от Козимы Вагнер приехать в Байрет – эту вагнеровскую «Мекку». Но они встретились только в следующем, 1902, году, когда С.М. Волконский, наконец, убедил Ивана Ершова посетить с гастрольями Париж. Это знакомство впоследствии переросло в дружбу с постоянной перепиской по-немецки (их письма хранятся в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина).

В оставленных записных книжках дед описывает события изо дня в день – то, как он оказался окружённым цветом художественной парижской элиты того времени. Здесь он встретился не только с Козимой Вагнер, но и был представлен шведскому королю Оскару II, графине Элизабет Греффюль, Николаю Бетаки, вдове Жоржа Бизе. У него были интереснейшие разговоры с Марселем Прустом и композитором Сен-Сансом, который сам ему аккомпанировал на одном из вечеров...

* * *

Как я уже говорила, дед обладал большими способностями к живописи. Илья Репин, сделавший несколько его портретов, и Кустодиев, лепивший его не раз, искренне восхищались его талантом живописца. Ершов посещал мастерскую Яна Ционглинского и брал уроки как начинающий студент; в то время это была довольно известная студия и её посещали многие художники, которые впоследствии стали настоящими мастерами. В артистической уборной деда Мариинского театра долгое время хранился его поясной портрет, написанный гримом на стене (что с ним стало?)

По семейным преданиям, удивительный случай произошёл с Образом Христа, который дед написал на простом холщовом полотенце и с которым никогда не расставался.

В 1910 году, летом он собрался к себе на дачу, в новгородскую губернию. Бабушка попросила его захватить с собой кое-что из вещей и её фамильных драгоценностей. Всю жизнь она хранила их под крышкой рояля (насколько это было надёжно, трудно сказать, нашу квартиру грабили много раз и в разные периоды), дед взял коробочку с драгоценностями, завернул её в холщовое полотенце с Образом и положил всё в сундук вместе с остальными вещами. Дорога была длинная, в то время попасть на реку Мсту через новгородские леса было делом долгим, лошадей меняли в Малой Вишере, на постоялом дворе пили чай, отдыхали. (В шестидесятые годы, посещая эти места я сама пила жидкий чай в столовой Малой Вишеры, где в середине зала возвышался десятиведерный самовар из имения Ершова. Употреблялся он не по назначению, внутри был налит самогон). Отмахав много вёрст, дед ехал через лес и вот тут, уже почти возле дома, на него напали разбойники. Лошадей остановили, кучера ссадили, сундуки взломали и... перед ними развернулся Образ Христа! Это их так напугало, что один из них упал

на колени, стал молиться, другой дал дёру, побросав в панике всё награбленное. Один из них всё же прихватил с собой бабушкину коробочку с драгоценностями, но каково было удивление деда, когда через пару дней крестьяне принесли эту коробочку с нетронутым содержанием, сказав, что нашли её подброшенной к одному из домов.

Конечно, в нашем доме сохранялась память о сценических казусах и смешные театральные истории, связанные с дедом. Так, например он всю жизнь суеверно верил в магию цифры девять. Игральные карты (найденные на улице) с цифрой девять, театральные билеты – это всегда было место под номером девять, свои концерты или премьеры он старался назначать на девятое число, более того, он подарил бабушке бриллиантовую брошь в виде девятки, которую пришлось продать уже после войны в сорок пятом. (Стоила она тогда две белых булки!) Если он приходил в дом под номером девять, то был уверен, что здесь живут милые люди и визит будет удачным. После деда осталась настоящая коллекция предметов и безделушек, связанных с числом девять. Как всякий большой артист, по натуре человек страстный и крайне ревнивый, он распространял свою ревность не только на предметы, но и на близких людей. Его суеверие и ревность иногда проявлялись странно, парадоксально, необъяснимо.

Моя бабушка часто и подолгу проводила время в ванной; как все певцы, она по утрам любила «распеваться» именно за утренним туалетом. Длилось это иногда час, а иногда и более. Каждый день это кончалось сценой ревности со стороны деда. Он был уверен, что бабушка делает вид, что приводит себя в порядок, а на самом деле она читает любовные письма.

У деда была любимая чашка, из которой он долгие годы пил чай и никогда не расставался с ней. Всегда говорил, что если она разобьётся, то «тут-то он и умрёт». В доме всегда жило много друзей, поклонниц и «приживалок». Прислуга боялась прикасаться к этой чашке. И как часто бывает (по «закону подлости»), чашку разбила одна из наиболее преданных и влюблённых в деда поклонниц (Е.Ш.) Дело дошло чуть ли не до самоубийства самой особы. Не помню, как ему сообщили о том, что его магическая чашка разбита, а Е.Ш. сама была в состоянии близком к смерти. Хочу сказать, что преданность и любовь этой замечательной женщины не имела границ. Благодаря её трудам и терпению, впоследствии многое из записей моего деда было расшифровано и переписано. Ершов обладал на редкость беглым и плохо читаемым подчерком, а после работы Е.Ш. он стал доступен читателю.

Иван Ершов был наделён природой эффектной внешностью. Роста он был среднего, но его манера держаться и ходить (вроде как на котурнах) производила впечатление, что он высокий человек. Недаром дед всю жизнь преклонялся перед балетом и был истинным балетоманом. Ещё молодая и начинающая Галина Уланова была его настоящим кумиром. И не случайно, что в те времена она была одна из первых, кто не просто вытанцовывал па и технически безупречно крутил фуэте, но и создавал артистический образ на сцене. Дед всегда с восторгом вспоминал её Джульету. Видимо, его осанка в жизни и на сцене, над которой он постоянно работал, во многом была построена на внимательном изучении балетной пластики. Внешность его, незабываемый профиль, длинные волосы, высоко поднятая голова, походка – производили неизгладимое впечатление на окружающих. Он был узнаваем на улице, когда гулял со своей неизменной тростью, а сзади слышался восторженный шёпот «Смотрите, это Ершов...».

На своём жизненном пути деду довелось встретиться со многими известными людьми того времени. В большой дружбе он был с композиторами Глазуновым, Римским-Корсаковым, с музыковедом Гнесиным, с С. Волконским, с дирижером Е. Мравинским.

Большим событием тех далёких лет была постановка опер Вагнера на сцене русской оперы. В те годы не возникало столь идиотских дискуссий, что Вагнер – «фашистский композитор», тогда фашизм ещё не родился. А как же теперь классифицировать Бетховена, ведь его произведения были любимыми и исполняемыми лично вождём пролетариата В.И. Лениным? Так вот, история не должна замалчивать, что В.Э. Мейерхольд много и тщательно изучал творчество Вагнера и его эстетические воззрения. Именно в его постановке появилась впер-

вые на русской сцене опера «Тристан», в которой Ершов пел заглавную партию. Он стал первым исполнителем главных ролей всего цикла «Кольца Нибелунгов», а замечательный костюм для Зигфрида (шкура, сандалии, меч) были придуманы самим Бенуа. В те же годы Мейерхольд работал вместе с Глазуновым и Бенуа над оперой «Маскарад», получилась интереснейшая постановка.

За тридцать три года пребывания на сцене И. Ершов создал около шестидесяти партий и уже на закате своей артистической карьеры стал первым исполнителем Труффальдино в опере С.С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». Сергей Сергеевич уговорил деда выйти на сцену в этой партии, и был уверен, что, не смотря на почтенный возраст (Ершову было уже за 60), он будет блистателен. И не ошибся!

В 1938 году, после первого исполнения «Пятой симфонии» Дмитрия Шостаковича под управлением Евгения Мравинского, потрясённый услышанным, Ершов, уже семидесятилетний старик, маститый артист, упал в артистической на колени перед растерявшимся композитором.

Восторженность, буйный и неудержимый темперамент деда приносили не всегда радости. Частенько это оборачивалось скандалами и руганью с дирижёрами и постановщиками. В своих оценках и принципах у деда никогда не было дипломатической середины, но ему прощалось многое именно потому, что он был Ершов.

Настоящий самородок, выходец из бедной семьи, обожавший русский язык, хотя в совершенстве владел немецким и итальянским, считал всегда, что находится в неоплатном долгу перед своей Родиной и народом. Может быть, поэтому он так никогда и не решился уехать в эмиграцию.

Скончался Иван Васильевич Ершов в 1943 году в день своего рождения, в Ташкенте, куда были эвакуированы Мариинский театр и консерватория. В 1956 году прах его был перевезён в Александро-Невскую Лавру, в Некрополь, где он покоится рядом с могилами артистов, композиторов, своих учителей и учеников....

Как-то однажды, уже в Париже, мой муж Никита Кривошеин позвал меня к телефону: «С тобой хочет поговорить из Нью-Йорка моя девяностолетняя тётя». «А Вы похожи на своего деда?» – был её первый вопрос. Я растерялась.

Странна наша судьба, а иногда и её возвращение «на круги своя».

* * *

Я живу уже более тридцати пяти лет в Париже, но если сказать честно, никогда не стремилась уехать из бывшего Советского Союза, не подавала заявлений в ОВИР, да и не устраивала всех прочих уловок и демаршей, для того чтобы, как в то время говорили, «быть выездной». Жизнь моя была интересна в тогдашнем Ленинграде. Я была окружена друзьями и поклонниками, работала иллюстратором детских книг, посещала концерты в филармонии, выставки, много читала и слушала, как все, радио «Свобода» и «Би-Би-Си». Я выросла в семье, где царила музыка, опера, драматический театр и живопись. В младенческом возрасте, чтобы успокоить мой рёв, меня клали на крышку рояля, а бабушкины ученики продолжали репетировать партии. Может быть «по наследству» я была увлечена балетом и мечтала, что из меня выйдет хорошая балерина. По тем годам меня подвел рост («слишком высокая!» – был вердикт Вагановского училища – «партнёра не сыскать»).

В свои шестнадцать лет я с большим любопытством изучала залы Эрмитажа и Русского музея, ходила на «джермейшеры» в Университет, где играли замечательные и прославленные джазисты, и где читали свои стихи Соснора и Бродский. Наше поколение прикоснулось к этой непродолжительной полосе счастья в истории СССР под названием «оттепель» и «десталинизация». Состояние воздуха (буквально) было пропитано возможностью бесстрашно танцевать

(буги-вуги), читать («самиздат»), петь (Высоцкого, Окуджаву и Галича), собираться компаниями с гитарой и пить сухое вино «Гамза», ходить на новые концерты «Мадригала» в филармонию (во главе с Андреем Волконским в зените своей славы), посещать первые квартирные выставки художников-авангардистов и наконец... по моде (хоть и с большими трудностями!) одеваться. Более того, я смогла совсем не сложной уловкой избежать вступления в ряды комсомольской организации. И ещё многое другое, что невозможно перечислить в списке тогдашнего «счастья», обрушилось лавиной на нас.

К сожалению, длилось это всего года три-четыре, а потом стагнировало вплоть до начала семидесятых. Началась новая волна посадок и арестов с процессами диссидентов и отказников, в результате пошли выезды и высылки из страны, родина лишалась своих героев и лучших представителей интеллигенции. Кто бы мог тогда предполагать, что многих из нас судьба сведёт в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Странно подумать, что уже в те шестидесятые годы, в параллельном пространстве, рядом, не пересекаясь со мной, мелькал в тех же компаниях мой будущий муж Никита Кривошеин, с которым мне суждено было встретиться только в 1979 году... в Женеве.

И уже разбирая архив Ивана Ершова, я обнаружила фотографию, на которой изображён мой дед, мама Никиты, его тётушка и Борис Зайцев. Место этой сцены – 1910–11 годы, Гурзуф, имение Мещерских. Иван Ершов посещал эту семью, пел у них на музыкальных вечерах, писал портрет Наталии Алексеевны (тётушки Никиты), ухаживал за ней. Так что вопрос Никитиной тётушки по телефону из Нью-Йорка, через семьдесят лет, «похожа ли я на своего деда?» был достаточно сюрреалистичен для нас с Никитой, но не для неё.

На обороте этой групповой фотокарточки почерком моей бабушки (Софьи Владимировны Акимовой) подробно выписаны даты, место, фамилии. А на другой открытке – репродукция портрета Наталии Алексеевны Мещерской и Бориса Зайцева, писанного моим дедом.

Эти странности и, как оказывается, закономерности предопределены нашей судьбой. Разбитые и рассеянные черепки склеились. А мой дед, моя бабушка, и судьба семьи Никиты нашли продолжение и соединение уже в нашей жизни. Но обо всём этом хочу рассказать по порядку.

О моей бабушке

Итак, бабушка моя Софья Владимировна Акимова (Ершова), будущая жена Ивана Васильевича Ершова и мать Игоря (моего отца) родилась в 1887 году на Кавказе в городе Тифлисе. На своей левой руке безымянного пальца я ношу семейное кольцо с вензелем из трёх букв «С.В.А» (имя, отчество, фамилия бабушки), это то малое, что сохранилось у меня от семьи. И ещё я всю жизнь обращалась к своей бабушке только на «Вы». Отношения наши были всегда тёплыми и увлекательными.

Это была дворянская и достаточно патриархальная семья. Очевидно, как говорили наши деды и прадеды, Акимовы произошли от армянской фамилии Екимян, (в переводе «врач»). Её дед со стороны отца – Николай Захарьевич Акимов, а со стороны её матери

– Антон Соломонович Корганов, хорошо говорили на грузинском языке и прекрасно владела русским. Семья Коргановых была богата, так как владела большими нефтяными месторождениями, и очень родовита.

Вот что пишет бабушка в своих воспоминаниях.

«Мой отец, Владимир Николаевич Акимов, получил образование в Петербурге, в Николаевском кавалерийском училище, вышел в отставку в чине генерала. Мать – Мария Антоновна Корганова – окончила Институт благородных девиц в Тифлисе. Была на божьим и церковным человеком. Помимо русского и армянского языков, и отец, и мать свободно говорили по-французски, немецки и понимали грузинский. Не приходится удивляться тому, что в Тифлисе, бывшей столице Кавказского края, резиденции царского наместника, графа Воронцова-Дашкова, интеллигенция говорила преимущественно на русском, грузинском и французском языках. Несмотря на это, моя мать сочла нужным взять нам (трём сёстрам) учителя армянского языка.

Отзвуки далеко ушедших лет детства и ранней юности прежде всего возвращают меня к матери. Часто, ребёнком трёх-четырёх лет, сидя на её коленях у пианино, я слушала и чуть подпевала детские песенки из сборника «Гусельки». Особенно «Осенняя песенка» разливалась в моей душе нежной скорбью, глаза заволакивало, и по щекам текли тихие и тёплые слёзы. Спасибо маме за них. Она уже тогда поняла силу воздействия песни на мою детскую душу. В нашей семье музыкальностью обладали отец, его сестра Жозефина и брат Михаил. Однако никто из них не стал в этой области профессионалом. Отец, особенно в кругу семьи, был необычайно застенчивым и неразговорчивым человеком. Наблюдая как бы со стороны за ростом и развитием детей, он всецело доверил наше воспитание и образование матери, своё явное и ничем не прикрытое волнение за нас отец проявлял только, когда мы заболели.

На моей памяти отец пятнадцать лет кряду нёс доверенную ему почётную должность директора «Оперного Казенного Театра» в Тифлисе. Он был увлечён своей работой, а по роду своей военной службы и занимаемой им должности в театре он часто отлучался из дома.

Годы нашего детства в моей памяти ассоциируются с особенным по строгости воспитанием. У нас был прописанный режим воспитания, дома и в учёбе, за которым следила наша мать. В отличие от сестёр я росла настоящей «букой». Застенчивость и нелюдимость, очевидно унаследованные от отца, проявлялись в неприветливости к новым для меня людям. Лишь куклы были тогда для меня родными. Этот мир детских фантазий протянулся до одиннадцати лет, когда летом, в усадьбе моего деда Николая, меня подвели к детской кровати, стоявшей возле постели моей матери и показали мне «живую куклу». Это была только что появившаяся на свет моя сестра Ирина. Обомлев от удивления, я стремглав кинулась в детскую комнату за одной из любимых мною кукол и положила её рядом со спящей крошкой! На этом мир кукол для меня кончился».

Забегая вперёд, хочу сказать, что в 1916 году семья моей бабушки разделилась.

Трое сестёр: Нина (старшая), Софья (средняя) и младшая Ирина вместе с их матерью Марией Антоновной выехали в путешествие по Европе. Их отец Владимир Николаевич Акимов остался в Тифлисе. Роковые события 1917 года, потрясшие Россию, разделили семью навсегда. К этому времени бабушка уже состояла в браке с Иваном Ершовым и родила сына (моего отца). Её мать и две сестры решили остаться в Швейцарии, а Софья вернулась к Ивану Ершову в Петроград. «Скоро всё закончится, мы опять увидимся, я так хочу обнять маленького Игоря. Твои сёстры хорошо учатся, и мы скоро вернёмся домой...» – так писала моя прабабушка. Им суждено будет увидеться только в 1922–24 году, когда Софье с сыном будет разрешено посетить с гостевым визитом Женеву. Это была последняя встреча с матерью и сёстрами, и по тем временам казалось, что навсегда.

В 1964 году в Ленинграде моя бабушка (Софья Владимировна) впервые после сорокалетнего перерыва увидела свою младшую сестру Ирину. Она приехала с приятельницей как турист на три дня. В моей памяти отпечаталась маленькая, прямо держащаяся, как бы «засушенная», с голубыми волосами швейцарка. Ничего ни русского, ни армянского в ней не осталось, она была эталоном швейцарского благополучия и на меня пахло «гербарием» веков. Мы встретили её в нашей квартире с анфиладой комнат, на ул. Гороховой. Бывшая квартира Ершова в 1959 году превратилась постепенно в огромную коммуналку. Из каждой комнаты сразу высунулись любопытные носы: было всем на удивление посмотреть на «голубую старушку» из Швейцарии.

Почему-то я запомнила, что бабушка решила принять сестру достойно и шикарно. Как только открылась входная дверь, мне было приказано поставить на проигрыватель пластинку с записью деда, так что тётя Ирина вошла под звуки Вагнера и голос Ершова. Бабушка занимала в «своей квартире» 3 комнаты, а на большой кухне стояло семь деревянных столиков с аккуратными замками на каждом из них, три газовых плиты и кастрюли, на некоторых тоже красовались медные замочки.

«Голубая старушка» шла по коридору под музыку Вагнера и по-русски, с довольно сильным акцентом, выговаривала бабушке: «Слушай, Софи, как ты можешь жить в этой стране! Воды горячей в гостинице нет, я не могу принять ванну. Краны не отвинчиваются, уборная забита газетной бумагой, а туалетной бумаги нет на месте. Еда жирная, салатов не подают...» и так далее. Потом тётя Ирина перешла на французский, продолжая жаловаться с прежним азартом на «сервис» гостиницы «Октябрьская». Любопытные носы соседей стали быстро скрываться, заслышав чужую речь.

Я была поражена, что сёстры не кинулись друг к другу в объятия, не заплакали, в общем, не произошло того, что мы обычно наблюдаем в кино или по телевидению в передаче «Ищу тебя». После стольких десятилетий! Бабушка моя была смущена, отец почти возмущён, мама стала суетиться за приготовлением чая. Переписка между сёстрами, с перерывами во времени, по совершенно определённым обстоятельствам тех лет, худо-бедно продолжалась. Но вот встречи бабушка совершенно не могла вообразить, а я впервые увидела своих заграничных родственников. Во мне это, как ни странно, не пробудило любопытства, и казалось, что я у них тоже вызвала, скорее, чувство страха (а вдруг начну просить о подарках, джинсах, пластинках). Но я почему-то не просила, моя двоюродная бабушка мне не понравилась и никакого желания посетить Швейцарию в то время у меня не возникло. В то время я, моё поколение и страна переживали интереснейшее время.

Но хочу вернуться к рассказу о моей бабушке, вот что она пишет о своей юности.

«По сохранившимся у меня печатным программам «Музыкальных утр» (с 1896 по 1899 гг.), организованных моей первой преподавательницей по фортепьяно Жозефиной Антоновной Фирсовой, на которых значится и моя фамилия, я заключаю, что нотной грамоте меня начали обучать с семи лет. Более того, первые выступления на публике состоялись в этом же возрасте. Но, как ни странно, никаких ассоциаций или особенных воспоминаний у меня в памяти не сохранилось. Помню только, что выучивание наизусть заданных пьес всегда мне

давалось с трудом, а читка с листа, (с первого раза!) была свободной, будто она родилась вместе со мной. Это осталось на всю жизнь. Я могла взять ноты незнакомого и даже трудного произведения и без всякой репетиции сразу его играть. В домашней обстановке с моей тётёй Жозефиной и с троюродной сестрой Соней М.Б. мы много играли в «четыре руки». Я узнала классические симфонии западных великих композиторов. В те годы лучшего и более увлекательного досуга я не знала.

В 1899 году, в возрасте 12 лет, я впервые услышала оперный спектакль. Это был «Евгений Онегин» Чайковского. До сих пор я помню бурный успех баритона Л.Г. Яковлева, певшего в тот вечер роль Евгения Онегина. Помнится, он бисировал шесть раз к ряду арию Онегина «Увы, сомнения нет...». Яковлев в те годы пользовался блестящим успехом. Тогда же в моей детской голове запечатлелся образ Татьяны в исполнении умной и задушевной певицы Пасхаловой. Этот спектакль был первым толчком к страсти к сцене и перевоплощению. На первом же детском маскараде я была в костюме Татьяны из первого акта. Причём этот костюм я придумала сама.

Теперь в свободное от учебных занятий время я стала предаваться мечте о театре. Подстерегая время ухода родителей из дома, получив с согласия матери несколько длинных юбок из её гардероба, я становилась хозяйкой самой большой комнаты нашего дома, обращая её своей фантазией в театр. От моей природной застенчивости не оставалось и следа, я ощущала огромную радость разливаться полным детским голосом, не стесняя себя в движениях и жестах.

Моя тётушка Лиза Акимова, наблюдая в то время за моей страстью к пению и театру, горячо поддержала меня. Вскоре я получила от неё мой первый «взрослый» подарок – клавир-аусцуг «Евгения Онегина». Не прошло и недели, как я под собственный аккомпанемент пропела всё «письмо Татьяны»!

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, моя мама повела меня послушать в оперу замечательную певицу Надежду Амвросиевну Папаян. Она тогда была в расцвете своей славы, и её исполнение в партии Виолетты осталось неизгладимым в моей памяти. Мои родители дружили с Надеждой Амвросиевной, приглашали в гости, и однажды мне довелось самой сесть за рояль и аккомпанировать ей. Для меня подростка это было особенно волнующее событие, и я старалась изо всех сил. Исполняемый ею тогда романс ценности музыкальной не представлял. Искренность же передачи певицы была незабываемой. Глядя в ноты нового для меня произведения, я слушала, как зачарованная, пение Надежды Амвросиевны. Легкость, непринужденность и словесная выразительность поразили меня. Я подумала тогда: поёт так, как будто говорит. И сразу же я задала себе вопрос, как добиться такой свободы и правды в вокальной речи.

Ведь неестественность «пропеваемого слова», монолога или диалога, неправдоподобна уже в самой её сути и по форме. На протяжении всей своей музыкальной жизни я вспоминала эту счастливую встречу.

Позже, в 1905 году, в Петербурге, я вместе с мамой пришла поздравить Надежду Амвросиевну в гостиницу «Астория», с подписанием ею договора с парижской «Grande Opéra». Несколькими днями позже она выехала к своим родителям в Астрахань, где её постигла трагическая участь: её убили ворвавшиеся в дом грабители. Эта смерть была большим потрясением для всех многочисленных обожателей её таланта.

К шестнадцати годам я сдружилась со своими двоюродными братьями гимназистами Михаилом и Евгением Цовьяновыми. Михаил – виолончелист, впоследствии профессионал-музыкант, Евгений – любитель игры на скрипке. Семьи наши хорошо друг друга знали и не препятствовали нашим музыкальным встречам по субботам и воскресеньям. Сочетание разных по тембру музыкальных инструментов особенно было увлекательно для всех нас. Это был домашний, но вполне профессиональный камерный ансамбль. В это же время я впервые испытала чувство сердечного увлечения – чувство, которое называют первой любовью, – к Михаилу

(Мишелю, как мы его все звали). Наши чувства были взаимны и связаны даже клятвой, а увлечение музыкой, которое поднимало нас на романтические и волнующие высоты, придавало им особенный небесный восторг. К сожалению, наши родители, догадываясь о серьёзности наших мыслей, постарались не допустить соединения наших сердец под венцом, объяснив нам, что мы состоим в близком (двоюродном) родстве.

В 1904 году, после окончания гимназии, я была принята в музыкальное училище по классу фортепьяно. Но, проучившись полтора года, я совершенно не ощутила в себе призвания к сольному исполнительству. Тогда же в Тифлисе мне довелось услышать в роли Каварадосси одного из выдающихся певцов своего времени Николая Николаевича Фигнера. Во втором акте оперы своей игрой и голосом он довёл мои нервы до крайнего предела. Всё нарастающие стоны Каварадосси вывели меня из равновесия настолько, что я, не дождавшись конца акта, словно без памяти выскочила из театра прямо на улицу.

Несмотря на то, что мы свободно пользовались директорской ложей, моя мать считала необходимым, чтобы я посещала и драматический театр. Она всегда мне говорила, что именно в драме можно почерпнуть настоящую правду и мастерство для будущей профессии оперной певицы: «Культура оперных артистов-певцов ещё сильно отстаёт от драматических актёров, мастерство же последних немало зависит от их интеллектуального непрерывного обогащения» – говорила она. На всю жизнь я усвоила этот урок и когда впервые на сцене я увидела и услышала Ивана Ершова, мне были понятны корни и пути построения его сценической драматургии образа.

Русско-японская война и вслед за тем вспыхнувшая в Петербурге первая русская революция нарушили привычную мирную жизнь на Кавказе. Это время совпало с окончанием мною гимназии и с необходимостью продолжить музыкальное образование. Несмотря на моё настойчивое желание учиться пению, мама смогла убедить меня в необходимости сперва овладеть игрой на рояле: «Только при этом условии ты будешь чувствовать себя свободной от палочки дирижёра, от концертмейстера и от суфлёра!» – говорила она».

О моих детстве и юности

Насколько я не любила свои школьные годы, настолько я с нежностью вспоминаю своё детство. Кроме бабушки, с которой у меня, начиная с десяти лет, встречи были не каждодневными, а еженедельными, со мной все моё детство провозилась нянечка.

С бабушкой всё было иначе, я обращалась к ней на «Вы», она всегда с большим вкусом, по моде, одевалась, была надушена, много и часто водила меня в Мариинский и Малый оперный на спектакли, в филармонию, а больше всего я любила присутствовать на её уроках вокала. Забившись в угол мягкого дивана, утонув в горе подушек, я часами могла слушать, как распевались ученики и репетировались арии. Репертуар я изучала вместе с ними и часто подпевала про себя, с увлечением представляя себя на их месте. Забавнее всего проходили уроки пения с моим папой. Это был хороший пример того, как родителям не удаётся научить своих собственных детей специальности. Каждое занятие кончалось скандалом.

Так вот, у меня была нянечка. Она досталась мне «по наследству» от папы, которого она вынянчила. Сейчас уже нет таких нянь, их класс вымер, а это были особые женщины.

Родная сестра моей няни одевала бабушку для сцены и заведовала её театральным гардеробом. Я помню, что её звали Дуду. Обе сестры приехали из Новгородской деревни Крестцы на заработки в 1909 году в Петербург. Крестцы славились вышивкой, которая так и называлась «крестецкой строчкой». Дуду и моя нянечка были мастерицами в шитье и вышивке. Всё детство нянюшка меня обшивала, особенно она любила шить костюмчики для моих кукол из розового целлулоида. Кукол в те послевоенные времена у меня было три, но все с большим гардеробом. Нянечка была доброты неземной, всё мне прощала и совершенно не занималась тем, что называется воспитанием. Она была малограмотная, но сама выучилась писать и читать. Набожность и церковность няни сыграли большую роль в моём сердечном и душевном воспитании. Помню, как она почти машинально, но постоянно молилась, казалось, между делом... Моим первым учителем была она, и уже в три года я разбирала по складам предложения.

С личной жизнью ей не повезло. Первый раз она вышла замуж в тридцать два года, и муж её умер в первую брачную ночь. Второй оказался пьяницей и бил её. Стерпеть она этого не смогла и ушла от него. Детей у неё не было, а любовь к ним была большая. Так она и попала в нашу семью, вначале выходила, вынянчила моего отца (её Гуленьку), а потом уж и меня. Жила она вместе с нами и была совершенно родным человеком.

Прогулки с няней были каждодневными. Почти каждый день мы ходили в Александровский сад (напротив Адмиралтейства) или доходили до Михайловского и Летнего. Весной мы собирали подснежники в большие белые букеты. Осенью – жёлтые и красные листья, а в маленькую корзиночку шли жёлуди. Зимой – санки, катание с ледяных горок, бух... и всё лицо жжет, нянечка меня бранит, выбивает из валенок снег.

Я была упрямым ребёнком и иногда донимала свою добрую нянюшку. Наделаю проказ за день, а перед тем, как должны придти домой мама и отец, целую и милую няню, и умоляю ничего им не рассказывать. Наказаний от родителей не получалось, да, видно, и не за что было.

Но однажды мои фантазии превзошли себя!

Как я уже говорила, у меня было три куклы, одну из них звали Ира, был Петрушка, который надевался на пальцы, я представляла им разные сцены, и разговаривала за него, и ещё был большой медведь. Почему-то я его не любила. Он был страшно облезлый, внутри его что-то сухо трещало. Однажды мама и папа, как обычно, поутру ушли. Я осталась в квартире с нянечкой, которая занималась хозяйством на кухне.

В своей комнате я разговорилась со своей любимой куклой Ирой и... не знаю, – то ли она подала мне идею, а может быть, запахи, шедшие из кухни. Только я потихоньку пробралась в столовую и стащила из буфета огромный кухонный нож с костяной ручкой. Я знала, что

в комнате у нас всегда была электрическая плита (с металлическими спиральками), которую включали для подогрева температуры в холодные дни. Потом я взяла медведя, положила его на пол и разрежала на куски, затем поставила детскую игрушечную сковородку на плиту, вставила штепсель в розетку, разложила куски медвежатины на сковородке. Мишка запылал довольно быстро. Нянечка прибежала из кухни с кувшином воды, так как запах горелого быстро распространился по всей квартире.

Она плеснула на моё «блюдо» и оно завоняло и задымилось ещё больше. Опилки из медведя плавали по всему паркету, я рыдала с оправданиями, что хотела приготовить ужин для папы и мамы. Но где-то внутри себя я была рада, что расправилась с ненавистным мне скрипучем медведем. Скрыть это происшествие от родителей не удалось. Меня наказали жестоко, отняли все книжки на несколько дней. Нянюшка переживала больше меня за то, что не получилось утаить мою шалость от родителей. Она чуть не плакала от жалости ко мне, целовала и успокаивала.

Мама моя – красавица, драматическая актриса – полжизни проработала в ТЮЗе (начала у Брянцева), а приехала она в Ленинград в 1935 году с Камчатки, наполовину нанайка, а вторая половина украинской крови. Все в её семье были охотники и золотоискатели, сама она унаследовала от своей матери, Марии Курковой, удивительный дар шитья, вязания, вышивки, прекрасно готовила, любила людей и животных. Так что, детство своё я проводила не только на ершовском рояле, но и за кулисами ТЮЗа, в окружении живых сказок. Мама обладала на редкость стойким и сильным характером, она похоронила двух малолетних детей (мою младшую сестру и брата), это горе было сильнейшим потрясением для неё. Когда отец привёз маму из больницы, её волосы, прежде иссиня-чёрные, были совершенно седыми. Мне было пять лет, и помню, как я испугалась: в первый момент я не узнала её и заплакала.

Школу образца пятидесятых годов, и особенно её учителей, я ненавидела. Видимо, это было «взаимной любовью», но я всё-таки как-то умудрялась переходить из класса в класс. Мне было неинтересно учиться, читала я всё подряд и запоем, а интереснее всего мне было дома, с музыкой и живописью, в общении с родителями и их друзьями. Меня всю жизнь тянуло к взрослым разговорам, я всем сердцем и душой чувствовала, и почти осознавала эту особенность нашего домашнего «оазиса».

От ранних школьных воспоминаний у меня остались в памяти стоп-кадры, как мы весело вместе с нашей классной руководительницей срывали со стен портреты Сталина и сваливали их в кучу в центре актового зала.

Помню, как лет в тринадцать я пришла на школьный вечер не в белом переднике и в красном пионерском галстуке, а в хорошеньком и очень простом ситцевом платице розового цвета. На следующий день моих родителей вызвали в школу на проработку. Не то чтобы я стремилась выделиться специально из серой массы униформы и столь же программной серости учебников, но почему-то я всегда вызывала чувство раздражения у учителей, потом у педагогов в институте, позднее – у чиновников-партийцев и законопослушных граждан.

В тот же ранний период начальной школы я переболела сразу всеми детскими болезнями и настолько ослабла, что волосы мои стали выпадать пучками. Родителям пришлось меня обрить наголо, дабы их дочка не походила на плешистую кошку. Я помню, какой шок это вызвало в школе. Это было воспринято, как вызов! Общественному спокойствию был нанесён удар, будто я нарочно устроила себе такую причёску (хотя в то время панки и скинхеды ещё не народились).

Однажды вернувшись домой из школы (шёл 1955–1956 г.), я застала у нас двух незнакомых мне людей. Муж и жена оказались друзьями отца. Из разговоров во время ужина я поняла, что они были реабилитированы и только что приехали в Ленинград после ссылки из города Бугульма. Он просидел двадцать лет, в ссылке женился. Посадили его совсем юношей в тридцать шестом году, причин было много: собирались вместе, говорили об искусстве и религии, а

ещё он был в силу своего происхождения записан в третью «Бархатную книгу». Я запомнила его моложавость и светящиеся глаза, несмотря на проведённые годы в лагерях; было чувство, что жизнь его только начинается. В тридцатые годы они вместе с моим отцом учились в Академии Художеств, но А.Б. так и не удалось закончить образование.

Мой отец был рад гостям, растерян и суетился вокруг стола угощая друзей и подливая в рюмочки водки. Из разговоров я поняла, что папа и мама «пропишут» своих друзей в нашей квартире для улаживания всяческих паспортно-квартирных формальностей, для спокойного начала их новой жизни.

Сейчас уже не помню точно, в этот или в другой день его товарищ принёс нам прочитать в самиздате Твардовского «Тёркин на том свете». Отец читал маме вслух целые куски, много смеялся, было общее чувство радости. Окончив чтение, он подошёл к печке-колонке, которая стояла у нас в ванной, и сжёг листик за листиком всю поэму. Я отчётливо помню своё состояние неловкости за отца, стыд перед его другом и почему-то я заплакала, глядя на сгорающие листики.

Уже с тринадцати лет я стала рисовать, и отец меня в этом очень поддержал. В 1947 году он закончил Академию художеств им. Репина, дипломной работой его были замечательно исполненные иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». (Впоследствии они были напечатаны в его полном собрании сочинений) Он успел поучиться у И.Я. Билибина, всегда вспоминал его с огромной благодарностью. Рисовальщик и живописец папа был прекрасный, а главное, он был наделён даром творческим, а не просто реалистический копировщик натуры. Видимо то, что он был ещё хорошим актёром и певцом, помогло ему в будущем преобразовать и развивать своё ремесло художника и не останавливаться на достигнутом. Учился он всю жизнь и меня учил этому. К концу пятидесятих годов он из правоверных соцреалистов, рисовавших «сухой кистью» рабочих, сталеваров, колхозниц и даже Сталина, превратился в абстракциониста. В нём произошёл серьёзный перелом, и он, что называется, опять «засел за тетради». Я помню, как он брал меня с собой в Эрмитаж (на третий этаж), где вновь после долгого перерыва открыли залы с Пикассо, Сезанном, Матиссом, Гогеном и импрессионистами.

«Третий этаж» был настоящим событием в жизни страны! Ещё один глоток свободы, люди приходили отдышаться в этих залах, поспорить – иногда до крика и оскорблений в адрес выставленных «невинных» полотен. Папа приводил меня сюда каждую неделю, объяснял, молчал, подолгу сидел в залах, делая для себя зарисовки и записи в маленьком альбоме.

Первое и неизгладимое впечатление – для меня это был Матисс (весь!) и Ван Гог – его «Сиреневый куст». Видимо, всё увиденное на «третьем этаже» было так красиво, так необыкновенно, свободно и правдиво, что меня стало туда тянуть как магнитом. Если бабушка окунула меня в звуки музыки и театра, то отец открыл мне мир современной живописи, музея, библиотеки. Я ходила в Эрмитаж чуть ли не по три раза в неделю, сидела и заморожено смотрела, ну, и невольно слушала высказывания неллицеприятных посетителей, в двубортных шевитовых костюмах, по поводу всего «безобразия повешенного» в этих залах.

Редкий зритель был внимателен к этим произведениям, но таких посетителей становилось всё больше и больше. Хрущёвская оттепель давала о себе знать, страх постепенно отступал, было ощущение, что прорвалась плотина и уж теперь ничем этот поток не остановить. Люди возвращались из лагерей и ссылок, ощущение лёгкости, счастья общения и новой жизни витало в воздухе.

В нашем доме всегда было полно друзей, которые приводили в свою очередь своих. Читали Ахматову, Мандельштама, первый самиздат. Среда и атмосфера дома, дружеские и доверительные отношения между мной, отцом и матерью, открытость ко всему новому, любопытство – хотелось объять и узнать всё, – заложили во мне крепкий фундамент на всю жизнь. Дом был всегда полон гостей, помню, что мы никогда не садились за стол только семьёй. За столом были весёлые и интересные разговоры, споры, пение под гитару или чтение стихов.

Мой единственный (единокровный) брат Алёша жил с нами с тринадцати своих лет, он был старше меня на полтора года. Между нами образовалась нежная дружба, и я очень любила своего столь неожиданно приобретенного брата. До этого времени Алексей жил в Москве у своих дедушки и бабушки (его родная мать виделась с ним крайне редко). Он вошёл в нашу гостеприимную семью и мама моя с радостью приняла его как родного сына. Родители позволяли нам устраивать вечеринки, и уже лет с четырнадцати-пятнадцати лет мы приглашали своих друзей, могли слушать музыку и новые записи с Эллой Фицджеральд и Луи Армстронгом. Папа частенько присоединялся к нашим молодёжным посиделкам, любил потанцевать буги-вуги, поболтать, выпить стаканчик сухого вина. Для многих, кто приходил к нам в те годы, память об этом общении, атмосфера дома сыграли большую воспитательную роль в сознании и понимании происходящего в стране. Правда, отец не забывал мне говорить: «Всё, что ты слышишь в доме, ты не должна повторять ни на улице, ни в школе». Подсознательно я понимала, что эта двойственность, в которой мы жили, осталась нам в наследство от страшных сталинских лет. Папин урок я усвоила крепко и на всю жизнь.

* * *

В конце 50-х годов в Ленинграде появился англичанин, звали его Эрик Эсторик. Он был коллекционер живописи и имел большую галерею в Лондоне. Что его привело в те годы в СССР, не знаю, но он побывал и в Москве. Совсем не так давно Оскар Рабин в Париже вспоминал Эсторика и говорил мне, что его галерея существует до сих пор. Видимо, рассказы о новоиспечённом «русском авангарде», хрущёвской оттепели докатились тогда и до Лондона.

Конечно, по приезде в Ленинград иностранный отдел Союза художников дал Эсторику адреса вполне официальных и апробированных художников. Но «неиспорченный» телефон подсказал ему список тех художников, которые работали как бы «за шкаф», чьи картины не могли быть выставлены в стенах ЛОСХа. Среди них были такие как П. Кондратьев, В. Матюх, А. Каплан, И. Ершов... и наверняка другие, о которых мы не знали. Все посещения держались в тайне, но какая тайна могла быть от следующих по пятам за англичанином лиц из КГБ.

Помню, что именно Анатолий Львович Каплан привёл к нам Эрика Эсторика. После первого посещения Ленинграда он приезжал ещё два раза. Влюбился в литографии А. Каплана, его серию иллюстраций к Шолом Алейхему, сумел вывезти их и выставить в Лондоне.

Благодаря этому Анатолий Львович приобрёл известность и возможность лечить свою единственную больную дочь Любочку. С моим отцом их связывала старая дружба и «халтура»: для заработка они писали официальные портреты «сухой кистью» и панно для украшения парадов. Они работали в «две руки» – Анатолий Львович писал костюм персонажа, а папа лица. Прекрасно помню наши посещения дома Капланов, и потрясающе вкусную еврейскую кухню – фаршированную щуку и сладости, которую готовила его добрейшая жена.

Эсторик был огромного роста, толстый, с чёрной клочковатой бородой и сигарой; он походил на персонаж сказки «Синяя борода». Простота взаимодействия облегчалась тем, что мой отец и Эрик хорошо говорили по-немецки.

Как-то сразу образовались в нашей квартире таинственность, радость и страх. Помню, как мама готовила нечто типично русское (чем удивишь миллионера?), а толстяк с удовольствием лопал щи с грибами, блины с селедкой и запивал всё стопкой водки. Мне он казался милым, но уж очень из неизвестности – «оттуда», почти как изображали в журнале «Крокодил» карикатуры на капиталистов.

Отец был в большом эмоциональном возбуждении и показывал свои работы с каким-то остервенением. Начал с живописи, потом, устлая весь пол в комнате (она же заменяла мастерскую), замелькали кипы чёрно-белых рисунков, гуашей, акварелей. Англичанин купил много папиных работ. Отец был счастлив, и не только потому, что Эсторик хорошо заплатил, но это

было для него настоящим первым признанием со стороны коллекционера, да ещё иностранца. Благодаря папе Эрик смог познакомиться с ещё несколькими художниками, которые начинали в то время работать в области эксперимента.

Но после отъезда Эсторика ощущение радости и праздника в доме смешалось с состоянием страха.

Не знаю, почему я выглянула в один из вечеров в окно, – на улице под нашими окнами я увидела серого цвета «Победу», рядом с ней, прислонившись спиной и внимательно наблюдая за нашими окнами, стоял мужчина. На следующий день история повторилась. Внутри меня что-то захолонуло. Отец и мама сидели у нас на кухне. Ох уж эти кухни шестидесятых годов! Это было излюбленное место посиделок наших друзей, сколько выпито и сколько доверено их стенам.

«В следующий раз мы "его" (англичанина) пригласим с кем-нибудь из наших знакомых... всё равно с кем, соберем компанию, а они ведь свидетели. Мало ли что нам ещё предстоит в связи с ним», сказал отец. Я услышала это совершенно случайно, но сколько вопросов я задала себе сразу же! Потом он перешёл на шёпот, заговорил о том, что он постоянно чувствует за собой слежку, что он видел странного вида людей, толкавшихся у нас в подъезде. После второго приезда Эсторика отец впал в тяжелейшую депрессию. Его преследовали ночные кошмары, к нему вернулся нервный тик с подёргиванием головой.

И опять о бабушке...

Я снова возвращаюсь к записям моей бабушки. Думаю, что для полного представления о том, в какой атмосфере рос мой отец, а потом я, важно привести отрывки из её воспоминаний. И ещё: описания её юности и моей сопоставимы только в возрастной параллели. Мир, в который нас окунули события 1917 года, раскололи историю России, людей и семьи на две чёрно-белых и не склеиваемых половины. Последующие семьдесят лет лет Советской власти изуродовали сознание и души русских людей. Представления о том, что такое добро и зло, сместились. Сын доносил на отца, отец на сына, и оба были героями. Страх парализовал Совесть, машина уничтожения Души работала отменно.

«Летом 1906 года, мне было тогда девятнадцать лет,» – пишет бабушка – «родители решили впервые выехать вместе с нами к моей старшей сестре Нине в Варшаву. Мама с облегчением уезжала из Тифлиса, где её всегда томили внешние формальности, связанные со служебно-светским положением моего отца. Мама была крайне набожным человеком и в нас, детях, она воспитывала молитвенность и церковность. Моя старшая сестра, в будущем, перейдя в Протестантство в Швейцарии, стала одним из известнейших деятелей и проповедников. К ней приезжали за советом со всех концов Европы. (Нина Владимировна скончалась в возрасте девяти лет.)

Мы прожили в Варшаве несколько месяцев, когда мама получила письмо от своей подруги из Лейпцига, в котором она описывала музыкальную жизнь этого города. Видимо, это послужило нам веским доводом для решения переехать и обосноваться на какое-то время в этом городе. Мама считала, что я смогу продолжить своё музыкальное образование. Отец, проводив нас в Лейпциг, вернулся обратно в Тифлис к месту своей службы.

Лейпциг, большой старинный город, несколько суровый по внешнему виду, в особенности по сравнению со светлым, в той же Саксонии, Дрездене, издавна славился как колыбель великих музыкантов. Здесь жил И. Бах, Ф. Мендельсон, Р. Шуман и Р. Вагнер. Могла ли я тогда подозревать, какую коренную роль в моей жизни сыграет этот композитор? Я впервые услышала музыку Вагнера весной 1906 года в Тифлисе. То была увертюра к опере «Лоэнгрин» под управлением Льва Штейнберга. Музыка эта произвела на меня изумление полным несхождением со всем, что я до этого слышала в ранней юности. И вот, прошло полгода, как обстоятельства привели меня в город, где родился Вагнер.

В репертуаре Лейпцигского театра были почти все произведения Вагнера. Первым услышанным мною сочинением оказался «Тристан и Изольда». С трудом я достала стоячее место на галёрке, как сейчас помню, что это было в левом углу, почти у колосников сцены. Артистов, декорации и сценического действия я видеть оттуда не могла. Оставалось одно: закрыть глаза и слушать оркестр и певцов. Я простояла пять часов в полной духоте, выдержав три длиннейших акта, и ощутила полное опьянение от изумительных по красоте нескончаемых потоков гармонии и тончайших модуляций.

С тех пор я "заболела" Вагнером!

За три года жизни и учёбы в Лейпциге я познакомилась со всеми его операми, а в 1907 году, летом, услышала впервые «Парсифаля» на Вагнеровских празднествах в Байрейте. Быть принятой в старейшую консерваторию имени Мендельсона по специальности фортепьяно оказалось для меня совсем несложным делом, я успешно прошла все экзамены. Моя подготовка дала мне возможность выбрать класс маэстро, у которого я хочу учиться. Обучавшиеся здесь русские студентки увлекли меня к своему "папочке", как они называли тогда профессора Карла Вендлинга. Приветливый, добродушный баварец признал руки мои весьма пианистичными и зачислил в свой класс. Моё признание ему, что я недостаточно быстро запоминаю на память музыкальные произведения, не испугало его. Оказалось, что в Лейпцигской консерватории и

даже в Концертном зале Гавандхауза в то время допускались публичные исполнения по нотам. Мне пришлось убедиться в этом на выступлении знаменитого пианиста Рауля Пюньо. Карл Вендлинг был либералом, особенно он был уступчив в работе над пианистической техникой. Он часто играл нам в классе любимого им Шопена. К этому времени он уже ушёл с концертной эстрады, но на всю жизнь я запомнила его бархатные туше и прекрасный вкус, в нём отсутствовала какая-либо сладость и пошлая патока. С его стороны я получила большую поддержку в моём увлечении музыкой Вагнера. Более того, я призналась ему в моей мечте стать певицей, а не профессиональной пианисткой.

Моё обучение фортепьяно шло настолько успешно, что я получила предложение войти в студенческий оркестр, а на публичных выступлениях и учебных концертах в большом зале Лейпцигской Консерватории мне посчастливилось солировать и сыграть с оркестром «Концерт Рубинштейна» и «Концерт Шумана». На выпускном экзамене, который состоялся 5 марта 1909 года, я играла вторую и третью части «Второго концерта» Сергея Рахманинова. После концерта я была представлена Артуру Никишу, моему смущению и трепету не было предела. Хорошо, что я не знала до экзамена о его присутствии в зале. Он с абсолютной естественностью похвалил моё исполнение и пригласил посетить его концерты, своему секретарю он дал распоряжение, что я могу совершенно бесплатно ходить на все его абонементные вечера.

Речь шла о знаменитых концертах оркестра Гевандхауза, за дирижёрским пультом которого стоял Артур Никиш. С начала октября и по конец марта (ежегодно) шли эти знаменитые абонементные концерты при участии выдающихся мастеров-солистов, достигших зенита мировой славы. Генеральные репетиции были открытыми для студентов консерватории, и могу сказать, что это было настоящим "музыкальным университетом" для нас. Благодаря подарку Артура Никиша, я смогла почти каждый вечер присутствовать на его концертах. Я услышала исполнение великих пианистов того времени: Эмиля Зауэра, Артура Шнабеля; скрипачей: Пабло Сарасате, Яна Кубелика, Фрица Крейсlera; контрабасиста Сергея Кусевицкого, который впоследствии стал выдающимся дирижёром.

Уже после выпускного экзамена я получила много заманчивых предложений в перспективе продолжить свою пианистическую карьеру, но судьба чётко вела меня по другому пути. Да видно, и сама я внутренне сопротивлялась, а по получению мною диплома об окончании консерватории с золотой медалью, мама моя, наконец, поддержала моё решение начать учиться пению. В это же время я услышала и увидела на сцене знаменитую Лилли Леман. Именно она сыграла самую решительную роль в моём дальнейшем образовании, и даже (забегая вперёд) в моей последующей педагогической деятельности.

Придя в очередной раз на концерт в Гевандхауз, я впервые увидела Лилли Леман. Она исполняла два совершенно контрастных произведения: арию Царицы Ночи из «Волшебной флейты» Моцарта и Смерть Изольды из «Тристана и Изольды» Вагнера.

Несмотря на свои шестьдесят лет, певица поразила меня молодостью и свежестью голоса. Вся внешность Лилли Леман, величавость осанки, исполнительское мастерство, живость движений ещё более изумляли при её совершенно уже седых волосах. Мне страстно захотелось попробовать учиться вокалу именно у неё. Пребывая в 1909 году на курорте в Мариенбаде, я случайно увидела в списке отдыхающих имя Лилли Леман.

Не понимая, что делаю, я решила обратиться к ней с письмом о возможном прослушивании меня. Через несколько дней я получила ответ с назначенным часом и что моё прослушивание состоится в комнате, которую она занимала в курортной гостинице.

Сердце моё билось от волнения, но, к сожалению, напрасно. Накануне прослушивания она тяжело заболела, и я узнала об этом через нашу общую знакомую, которая передала мне от неё письмо и книгу с самыми горячими извинениями. Уже позже я узнала, что Лилли Леман много гастролировала, по своему возрасту даже слишком много, у неё началась своего рода депрессия, и своих учеников ей пришлось передать ассистенту. Так что ученицей Лилли Леман

я не стала, но книга, которую я получила от неё в подарок, сыграла немаловажную роль в моей дальнейшей судьбе. Это был большой труд самой Лилли Леман под названием «Моё искусство пения», изданный в Берлине и в котором раскрывалось аналитическое мышление и методика личного опыта певицы – мастера своего дела. Её книга стала своего рода путеводной звездой на всю мою профессиональную последующую певческую карьеру. А когда у меня появились ученики, то я распространила этот метод и на них. В сороковые годы, после войны, я за это жестоко поплатилась, меня выгнали из Консерватории и лишили профессорского звания. Причина – "увлечение буржуазно-беспочвенным идеализмом системы Лилли Леман". Да, это было не столь смешно, как грустно!

Летом 1908 года, ещё в Германии, за год до возвращения в Россию, я познакомилась с моим будущим первым супругом, Александром Сергеевичем Андреевским. По профессии он был юрист, но его настоящей страстью была музыка и опера. Он был сыном поэта и литературного критика, а по профессии – криминалиста, Сергея Аркадьевича Андреевского, который прославился защитой по делу Веры Засулич. Не раз мне приходилось в последствии встречаться в доме моего мужа и с их другом А.Ф. Кони.

Весь свой досуг Александр Сергеевич отдавал музыке. Отсутствие специального образования не мешало ему прекрасно разбираться в стилях, а свободное владение немецким языком позволило ему остро и глубоко проникнуть в поэтику драм Вагнера. Как ни странно, но именно от А.С. я впервые услышала о "русском вагнерианце" Иване Ершове. По глубокому убеждению Андреевского, он не имел себе равных в исполнительском мастерстве, даже в Германии.

Наступила осень 1909 года, и пришло время возвращения в Петербург, где после трёх-летней разлуки, должна была состояться наша встреча с отцом. Если моя мама и мой будущий супруг А.С. Андриевский всячески поддерживали моё решение начать серьёзно обучаться вокалу, то совершенно неожиданно вмешался мой отец. Он впервые был резко против! Главным доводом было то, что он не желал видеть меня в "роли" оперной певицы. Для меня это было совершенно неожиданно, так как по натуре он был человек мягкого и ровного характера.

Как ни странно, но своё согласие на мою певческую карьеру я получила от него только после того, как А.С. попросил официально моей руки. В 1910 году я вышла замуж и поступила в класс знаменитой Марии Александровны Славиной.

Через несколько месяцев отец услышал результаты моих трудов и уже не только не возражал, а через какой-нибудь год сам охотно аккомпанировал мне на фортепьяно при моих домашних выступлениях.

Мария Александровна Славина поражала своей внешней незаурядностью. Очень высокого роста, широкий мужской склад фигуры, огромные лучезарно-голубые глаза, лёгкая поступь и крепкое пожатие руки. Мне ещё посчастливилось увидеть эту знаменитую артистку на сцене Мариинского театра. Ведь её сценическое мастерство было озарено светом интеллекта и большим музыкальным вкусом.

Моя упорная работа в классе, труд Лилли Леман, к которому я постоянно обращалась, помогли мне понять всю сложность вокального искусства.

В период 1909–1910 годов я увидела за дирижёрским пультом Мариинского театра Эдуарда Францевича Направника. В то время ему было уже за семьдесят, но его пылкости и темпераменту мог бы позавидовать молодой человек, а на сцене в исполнении Леонида Собинова я впервые услышала «русского Лоэнгрина». После этих встреч и знакомства с Вагнером в Петербурге, я окончательно, со всем юным пылом души, примкнула к "русским вагнерианцам"».

После двухлетнего обучения вокалу в Петербурге, бабушка едет со своим первым мужем в Германию. Два года, 1911–1912, она проводит в настоящем изучении Вагнера и его репертуара. Близкое знакомство с музыкальным критиком В.П. Коломийцевым и дирижёром Кусевицким привело к тому, что её приглашают принять участие в сезоне концертов, посвящённых столетию Вагнера в Петербурге. Она не нашла в себе сил отказаться от столь лестного

предложения, хотя «волновалась и умирала от страха». И вот 6 февраля 1913 года её фамилия появляется на афише рядом со знаменитым исполнителем Вагнера – Иваном Ершовым. Дебют был настолько блестящим, что Софье Акимовой-Андреевской предлагают подписать контракт и быть зачисленной в труппу Мариинского театра уже с октября месяца 1913 года. С этого момента начинается её карьера оперной певицы и партнёрши по сцене Ивана Ершова, во всём многообразии вагнеровских персонажей (Зиглинда, «Валькирия»; Гутруна, «Гибель богов»; Елизавета из «Тангейзера» и Эльза из «Лоэнгрина»)

Поздней осенью 1914 года она расстаётся со своим первым мужем и переезжает на новую квартиру. В ту пору все её чувства и мысли были обращены только к одному человеку. Седьмого ноября 1916 года у Софьи Акимовой и Ивана Ершова рождается сын, которому они дали имя Игорь.

То, что случилось с моим отцом в 1941 году

Мы часто и подолгу гуляли с отцом. Зимой, когда было много снега, катались на финских санках и доезжали аж до Каменного острова, часто брали лыжи и катались в Удельном парке или ехали на электричке к нашим друзьям в посёлок Комарово. В те годы, вплоть до начала восьмидесятых, стояли хорошие и снежные зимы.

Мы совершали многочасовые равнинные, лыжные походы. Мороз, снег, зимнее солнце, сосновый лес и весёлое настроение. Часто к нам присоединялись друзья, а после такого дня приятно было выпить рюмочку водки в тепле и уюте большого дома наших друзей Парай-Кошицев.

Летом мы много купались в Щучьем озере или на заливе. Вечерами гуляли по белому песку залива, жгли костры и много разговаривали. Эти разговоры были фундаментом наших отношений. Сколько из них я узнала, поняла, научилась мыслить и анализировать.

После отъезда иностранца отец переживал не самый весёлый период, в доме воцарилась тяжёлая и нервная обстановка. И самое странное, что, общаясь с друзьями, а иногда находясь в компании с полужнакомыми людьми, где-то в середине вечера, он начинал рассказывать историю, происшедшую с ним во время войны. История была скорее постыдная, хвастаться особенно было нечем, а мне – дочери, влюблённой в своего отца, – было больно каждый раз видеть реакцию людей на этот рассказ.

К началу 1939 года мой отец уже был студентом Академии художеств им. Репина. Способности у него были большие, и после двухлетнего пребывания в подготовительных классах его зачислили на живописное отделение. Уже позднее он перешёл на графическое, где его учителем стал И.Я. Билибин. Иван Яковлевич вернулся в СССР из эмиграции в 1939 году, скончался от голодной смерти во время осады Ленинграда. Он жил в Академии художеств совершенно один, а в страшные блокадные годы, голодая, рисовал снедь и, в частности, грибы. На полях рисунков писал «вот эти бы грибочки сейчас на сковородку, да со сметанкой...» Говорят, что он ждал немцев, и вполне сознательно, так как возвращение на Родину принесло горе и разочарования.

Как я уже писала, отец мой был очень эффектным мужчиной, обладал хорошими певческими способностями, темпераментом и голосом. Дед и бабушка никак не толкали его на оперную сцену, но по собственным наблюдениям могу сказать, что терпения к занятиям голосом у папы не было. После войны он был принят в Малый оперный театр, где пропел два сезона и снялся в опере-фильме «Дон Жуан».

К сожалению, этот фильм не вышел в прокат, так как попал под очередную сталинскую кампанию по борьбе с «ренегатством». Моя мама – красавица и ведущая актриса ТЮЗа – играла в этом фильме Донну Анну.

Итак, шёл 1941 год, и в Академии художеств, впрочем, как и по всей стране, стали сколачивать добровольческое ополчение. История сталинского призыва в ополчение теперь хорошо известна, в него как в сети попало много невоенных интеллигентов, талантливых инженеров, писателей, художников, учёных – тех кого презрительно тогда называли «вшивой интеллигенцией». Этот пласт абсолютно не подготовленных молодых людей был обречён на смерть, что и входило в многослойные и хитроумные планы «вождя народов». Многие из них погибли, не успев взять ещё и винтовки в руки.

К моменту записи в ополчение мой отец получил «белый билет». Как он рассказывал, у него на медицинской комиссии был обнаружен порок сердца и ярко выраженное нервное расстройство, короче, «нервный тик». Дед и бабушка к этому времени уже уехали вместе с консерваторией в эвакуацию в Ташкент и, будучи освобожденным от воинской мобилизации, отец решил податься к ним. Надо сказать, что к моменту начала войны мои родители были уже

близко знакомы, их роман начался в 39-ом году, после того как папа расстался со своей первой женой Мариэттой Гизе. В самом начале войны мама уехала вместе с ТЮЗ-ом на фронт, где они «гастролировали» с актёрскими бригадами, а потом осели в эвакуации в городе Березняки. Переписка между ними практически не прерывалась, только помню, что мама всегда ужасалась письмам, которые она получала от отца. Совершенно не думая, а может и не понимая, что существовала фронтовая «цензура», он писал ей «всё, как думает» и крыл на чём свет стоит политику партии и правительства.

Попасть из Ленинграда в Узбекистан можно было только на пересадочных поездах. Отец быстро собрал маленький чемоданчик и, послав родителям телеграмму типа «Выезжаю, встречайте, Игорь», устремился на вокзал. Так как никаких толковых карт и путеводителей по дорогам СССР в те годы не существовало, а ориентироваться в пути ему было необходимо, то отец вырвал страницу с картой и с объяснением местности из старого «Немецкого диксионера» (словаря). Карта была замечательно составлена с пунктуальностью, присущей немцам, и с красивейшим готическим шрифтом. Этот многотомный словарь с цветными репродукциями, переложенными папиросной бумагой, – издание середины девятнадцатого века – успел сослужить в последствии мне куда более добрую службу, чем отцу в тот момент.

Не стоит подробно описывать поезд, в котором он оказался, всё это мы видели сотни раз в кино: набитость до отказа, дети, старики, мешки, чемоданы, духота... Папа говорил, что он устроился на «третьем ярусе» полук, а внизу ехала большая еврейская семья, которая всю дорогу его сердобольно подкармливала. Одна из женщин бесконечно причитала: «Нас всех убьют, нас всех убьют, нужно было оставаться дома...» Пожилой старик еврей разговорился с отцом и, узнав, что отец свободно говорит по-немецки, перешёл на идиш. Поезд то шёл, то подолгу стоял, то откатывался назад, вдалеке были слышны орудийные раскаты и звуки бомбёжек. На одной из станций, совершенно потеряв ориентацию, не понимая, где же они находятся, отец вынул карту из своей полевой сумки и стал её рассматривать. Было уже довольно темно, и разобрать какие-либо детали, сообразуясь с окружающей местностью, не было никакой возможности. Отец спрыгнул из вагона и при помощи слабого карманного фонарика пытался всмотреться в детали карты, увлёкся и не заметил, как к нему подошёл военный: «Что это вы тут высматриваете, молодой человек?» – резко спросил он. «Да вот, пытаюсь разобрать по карте, где мы находимся... а это трудновато» – простодушно ответил папа. «Покажите-ка мне вашу карту. Странная карта. Откуда она у вас?» – и вдруг резко: «А ну-ка идём! Там разберёмся!» Подтолкнул отца прикладом ружья к машине и его, голубчика, повезли в неизвестном направлении. Шофёр да военный полушёпотом переговаривались, и по перелётным словам отец услышал страшные слова – «немецкий шпион».

Он оказался в Вологде, привезли к монастырским стенам. Сразу руки за спину и поволокли в комнату, где сидел молодой, весёлый и злой капитан. На пустом столе перед ним лежал пистолет и злосчастная географическая карта отца. Всё происходило по классическому сценарию – угрозы, крики, мат, запугивания расстрелом – что при создавшейся ситуации и подозрении на «шпионаж» было более чем реально. Кажется, в какой-то момент отцу все же удалось вставить несколько слов, где он попытался прояснить обстановку, назвал свою фамилию и, конечно, сослался на своего отца Народного артиста Ивана Ершова, находящегося в эвакуации в Ташкенте.

Допрашивающий его военный совершенно не поверил всем объяснениям отца, а, может быть, очень быстро сообразил, что перед ним сидит абсолютно расквашенный и смятый от страха молодой человек. Допросы с угрозами продолжались несколько суток, в лучших традициях тогдашнего времени. И однажды, уже потеряв счёт дням, после очередного разговора с капитаном, его повели не в обычную его камеру, а по длинной очень узкой каменной лестнице куда то в подвал. У отца мелькнула только одна мысль: «Вот сейчас и пристрелят», что было абсолютно логично в подобной ситуации.

Наконец они упёрлись в тупик, и солдат, гремя ключами, в полутемноте нащупал дверь и толкнул отца в помещение. Отец оказался в крошечной темноте, только под ногами чувствовалась слизскость каменного пола. Но вдруг он услышал дыхание и движение и в почти крошечной темноте к нему приблизился старец, вылитый граф Монте-Кристо, с длинной седой бородой и в белой рубахе.

«Молодой человек, я хочу Вам представиться, меня зовут Барклай де Толли. Да, да, мой предок тот самый Барклай». Отец был совершенно заворожен видением старика, а пережитый арест и допросы с угрозами расстрела повергли его в состояние нереальности всего с ним происходящего.

Он рассказал старику о случившемся с ним «недоразумении». Весь внешний облик старика создавал образ человека, которому далеко за семьдесят, его манера говорить выдавала в нём благородное происхождение. Оказывается, он был специалистом по части артиллерии и притом очень талантливым конструктором-изобретателем. И вот, с начала 1919 года его то сажают, то выпускают. Как только его знания как специалиста востребуются, то он выходит на свободу, но проходит какое-то время, и он опять в тюрьме. В его рассказе не было ни капли возмущения, а скорее юмор и покорность судьбе. На воле у него оставались родные, которых не трогали, и когда его выпускали, он жил у них. Теперь уже давно как он не имеет от них никаких известий; живы ли они, не пострадали ли из-за него? Как только началась война, его сразу арестовали и здесь, в Вологде, он сидит второй год, но думает, что скоро перевезут в другую тюрьму.

Допросы отца продолжались, и таких ночей было три-четыре. И тут я могу предположить, что отец испугался не на шутку. Запрос о его личности, который был якобы послан, а ответа не получено, окончательно убил надежду на помощь со стороны родителей. Как знать, а может быть, это был хитрый и расчётливый приём ГБ.

Так прошёл месяц, и однажды Барклай, проснувшись, сказал моему отцу: «Завтра Вас отпустят, молодой человек». Отец был настолько сломлен морально, что не очень в это поверил, но спросил его как он может знать об этом. «Я видел, как Вы выходите отсюда... Одна к Вам просьба. Когда будете на воле, позвоните моему племяннику и скажите ему, что я жив и здоров, но волнуюсь за них. Постарайтесь запомнить номер телефона».

На следующее утро отца действительно освободили. Якобы, накануне было получено сообщение в подтверждение его личности. Он смог продолжить своё путешествие в Ташкент. Племяннику Барклая де Толли он не позвонил, испугался. Правда, уже после войны наводил справки о старике и узнал, что тот скончался в пятидесятых годах на свободе.

Шестидесятые

Расположить слова в порядке
И обозначить очертания предметов.
Не предсказанность наших слов,
стала для нас запретной темой...

Почему-то именно после отъезда английского коллекционера отец прилюдно стал рассказывать о случившейся с ним истории во время войны. Было чувство, что он страдал, мучился душевно, метался и не знал, что ему делать.

В то время я, видимо, была не столь наблюдательна, как позже. Но уже и тогда я замечала за отцом некоторые странности, а иногда мне казалось, что он как-то по-особенному говорит по телефону. Это был как бы другой язык, с непохожими ни на что интонациями.

Несколько раз я столкнулась в нашем длинном коридоре со странными людьми, такого вида людей среди наших гостей я не замечала. Лица, глаза, манера держаться, говорить – они приходили из незнакомого мне мира. Встретившись случайно с одним из них в передней (отец только что открыл «ему» входную дверь и пропустил в квартиру), меня оттолкнул в комнату и, ни слова не сказав, не познакомив с гостем, плотно закрыл дверь в мою комнату. Это был человек, которого от меня хотели скрыть. Я совершенно не понимала почему. В нашем доме, так широко и открыто принимавшем всех, вдруг появляются люди, которых надо тайно проводить, запирает дверь и громко заводит музыку, чтобы не подслушали... Между мной и отцом не существовало тайн. Так мне казалось!

Прошло много месяцев и начались странные звонки по телефону, и если я брала трубку и спрашивала «что передать папе», то следовал ответ: «Скажите, что звонили из издательства», и сразу короткие гудки, так что спросить, из какого издательства, было уже не у кого. Но голоса издательские я знала, а это были совсем другие, от которых становилось нехорошо на душе, мутило в области солнечного сплетения и сердце сильнее билось в тревоге. Как часто я вспоминала отца до появления коллекционера – и после. Будто его подменили. Он мучился и, видимо, не знал, с кем он может поделиться своими страданиями. Был, видимо, какой-то момент, когда он мог переступить через свой страх, но это не случилось. Однажды в такси (я помню, как мы ехали по улице Пестеля, и отец был в нехорошем раздёрганном состоянии), где-то на повороте на Литейный проспект машину занесло на гололёде и отец буквально упал на меня и, прижавшись к моему уху, шептал: «Ксюша, я не могу «их» одолеть, я не могу «их» обмануть! А куда мне бежать?! Они здесь повсюду, это не страна, а большой лагерь!»

Я замерла в оцепенении, от неожиданности признания, от боли и жалости к отцу, от невозможности помочь ему и дать совет. Помню, я заплакала и обняв его сказала: «Ты должен бежать...». Он мне ничего не ответил.

В свои семнадцать-восемнадцать лет лет я подсознательно много чувствовала, видела его страдания, но всё, что он мне сказал – это было не для меня, это было выше моих сил. Одно я поняла: что для него это был как бы выхлоп. Он знал, как я его люблю, дорожу им, и всё, что я сейчас услышала, умрёт вместе со мной. Отец признался мне, совсем ещё глупой девчонке, переложив весь груз своей тяжести на моё сердце. Всем своим существом я вдруг почувствовала, как он «их» ненавидит.

Уже позже он много общался с иностранцами. Свободное владение немецким языком и французским, личное обаяние, шарм и незаурядный ум, ко всему прочему – большой художественный талант давали ему возможность заводить знакомства в самых широких кругах общества. Спасать свою душу и совесть было всё труднее. Иногда он совершал длительные мно-

гомесячные отъезды в глухую Новгородскую деревню, но и там ему мерещились «они». Он уверял меня, что дядя Вася почтальон именно и есть «связной». В этой игре не получалось у него быть победителем, ведь с «ними» это невозможно, какие хитрые игры ты не затевай против «них», они всё равно будут победителями и пожирателями душ.

Потом я наблюдала, как отца стало затягивать, засасывать нечто дьявольское. И видимо, самообманом в этой игре он получал удовольствие от неё, что-то вроде иллюзий своего могущества, что может кого-то как бы «прикрыть и спасти от "них"». Но годы шли, и его игра с «ними» стала постепенно превращаться в нечто другое. Его упругость, самозащита и независимость переплавлялась, страх исчезал, он больше «их» не боялся, он был с ними рядом. А уже позже я услышала (и своим ушам не поверила), что «они» стали другими: умными, образованными, способными многое понять, – но «не всё простить», захотелось мне прибавить в ответ отцу. Наши разговоры перестали быть откровенными, часто принимали тяжёлый оборот, и отец относился ко мне всё с большей настороженностью, побаивался моей прямоты.

* * *

В 1964 году я поступила в Театральный институт на декоративно-постановочное отделение. Во главе этого факультета стоял в то время Николай Павлович Акимов.

Он был талантливым режиссером, постановщиком и художником. Обстановка на факультете была особенной. Николай Павлович своим чутьём мастера сумел собрать таких педагогов, которые создали непохожую ни на что атмосферу на факультете. Акимов отбирал из абитуриентов юношей и девушек талантливых, то, что называется индивидуумов. Слава о Николае Павловиче, как о личности незаурядной, о его театре, актёрах, постановках шла тогда по всей стране. Я не думала, что смогу попасть на его факультет, но он меня выделил, похвалил и зачислил.

Учиться было интересно. Николай Павлович появлялся у нас на факультете нечасто, но когда приходил, для всех наступал праздник. Мы могли хоть каждый день посещать его Театр комедии, бывать на репетициях, просмотрах. У нас была возможность наблюдать, как воплощаются рисунки, эскизы для спектаклей – сначала в театральный макет (которым занимался талантливый мастер-самоучка Соллогуб), а затем и на сцене – в декорации. Кажется, Акимов и Соллогуба выпестовал, с юношеских лет он при театре вырос, был таким своеобразным мастером на все руки.

Ещё учась в институте, я начала исподволь помогать моему отцу в его графических работах. Начиная с конца пятидесятых годов, отец много работал в детской книге.

Помню его рисунки к книгам на тексты Генриха Сапгира, Льва Мочалова, Евгения Рейна, Михаила Дудина.

Это были годы, когда почти все будущие «инакомыслящие от поэзии и от живописи» применялись и зарабатывали себе пропитание на жизнь невинной детской тематикой.

Среди них были прекрасные писатели и художники. Детская тема, без идеологии и пропаганды, приютила многих, кто не хотел больше рисовать портреты вождей, писать колхозников и рабочих, восхваляя их труд. Что говорить, ведь были мастера кисти и пера, которые делали это вполне цинично, ради званий, заказов и мастерских. Но, кстати, были и настоящие «правверные», которые «верили и вполне разделяли». (Трудно разделить эту породу сиамских близнецов на «хороших» и «плохих».)

В те годы детская книга стала «убежищем» для многих: Май Митурич, Борис и Сергей Алимовы, Иван Бруни, Пивоваров, Токмаковы, Маврина, братья Трауготы, Стацинский, Васнецов, Конашевич... список длинен. То были художники и писатели, думающие уже иначе в жёстко-либеральных условиях тех лет, они сумели преломиться, но не пресмыкаться, это было своеобразным спасением души и совести. Детская тема, сказка широка и фантастична, здесь

может быть и зелёное облако и причудливый по форме персонаж, и говорить они могут на совсем другом языке (вспомним Хармса). Художники старались идти новыми путями, преодолевать косность, и медленно, но верно совершали свою маленькую революцию в умах зрителей и издателей. Это был тяжёлый путь, старая гвардия ветеранов «сухой кисти» не сдавалась, на художественных советах иногда происходили настоящие баталии.

Изоляция от внешнего мира подталкивала художников к открытию «новых дверей», неважно, что иногда это было «выдумыванием велосипеда». Для всех, кто пускался в эксперимент (а другого слова не подобрать) и изучение новых форм, наступили радостные и долгожданные времена. Возвращались имена русского авангарда двадцатых-тридцатых годов. Будто заново рождались Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Бурлюк, Родченко... Натан Альтман смог выставить свои работы в ЛОСХе – это было событием! Если очень захотеть, то можно было у букинистов купить Сальватора Дали, Пикассо, Магритта. Стоило дорого, но в то время люди не жалели на это денег.

В начале шестидесятых мы с отцом много ходили в Публичную библиотеку, в Отдел редкой книги, где смотрели редчайшие образцы рукописных книг с миниатюрами французских и английских мастеров XVI–XVIII веков. У отца был дар учителя-наставника, ему было интересно самому наглядно показать с кистью и карандашом, как нужно рисовать, открыть секреты акварели или композиции. Мне всегда казалось, что им двигало, с одной стороны, большое любопытство, а с другой – некий страх не остановиться на достигнутом. Хотелось научиться самому и передать это другому. Я была благодарной и увлечённой ученицей. В течение десяти лет мы работали с отцом вместе, наши рабочие столы стояли рядом, мысли и идеи чувствовались и разделялись с полуслова. За эти годы в книжной графике мы завоевали известность, наши книги для детей издавались в Москве, Ленинграде и Киеве, а потом многие из них были переизданы почти во всех европейских странах.

В те годы мы подолгу жили у наших друзей Парай-Кошицев на даче в Комарово, в так называемом академическом посёлке. Это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Комаровская братия была самая разнообразная, поэты, художники, физики, музыканты... Много встреч, много выпито, а сколько переговорено, это были «наши университеты» и питательная среда, которая нас во многом сформировала, научила быть свободными. От тех лет у меня остался один друг – Катюша И.

Отец был всегда в центре, он был прекрасным рассказчиком, заводилой, пел под гитару, танцором буги-вуги и твиста, молодёжь его обожала. Как могла сочетаться в душе отца эта дисгармония: с одной стороны – доброта и благородство, а с другой – самые низкие и предательские настроения и поступки. А чем больше проходило время, тем явственнее перевешивало последнее. Из «доброго пастыря» он на глазах превращался в полную противоположность.

Моя первая любовь пришлась на 1962 год и случилось это в Комарово. Нас познакомил Алёша Парай-Кошиц, привёл к нему на дачу, в его «сторожку-мастерскую». С первой секунды нашей встречи я поняла, что люблю этого человека, состояние своей смятённой души и частые удары сердца я запомнила навсегда. Это была любовь с первого взгляда и описание её мало кого удивит.

Борис Власов был талантливый художник, умный, образованный, весёлый, очень застенчивый и как две капли воды похож на актёра Пола Ньюмана. У Бориса были совершенно особенные голубые глаза, в них тлело сочетание кротости с безысходностью. Наверное он знал, что нравится женщинам, но совершенно не подозревал, что в него влюбится почти девочка. В тот момент он был женат, окружён славой и поклонницами. Моя любовь была безнадежно несчастной по многим обстоятельствам: сама я была очень молода, скромна, неопытна, он был старше меня на тринадцать лет, у него была властная мама Т.В. Шишмарёва, жена актриса, а у меня был мой папа, который старался всячески мной манипулировать. Так что, взаимность, возникшая между нами, была обречена тянуться годы, со взлётами и падениями, муками и слезами,

но всё закончилось по моей инициативе, я просто не выдержала постоянной битвы семейных кланов. Прошло с тех пор много лет, наши встречи стали случайными, где-то в гостях, в концертах, на выставках... И как-то на лестнице Союза художников, зная что я уезжаю надолго (а об этом рассказ впереди), он подошёл ко мне и сказал: «Я ждал тебя, Ксю... Смотри красоты Парижа внимательно и не очень увлекайся... Но ты ведь вернёшься? Мы ведь с тобой увидимся?» Это была наша последняя встреча. Прошло несколько месяцев и я узнала о его внезапной смерти, но тогда я была уже далеко.

Шальная любовь

1972 год был тяжёлым для всей нашей семьи. В декабре, в день моего рождения, накануне Нового года мои родители развелись, и почти сразу же после этого умерла моя бабушка.

Ей было восемьдесят пять лет, сердце, аритмия, давление, но до самого последнего дня она одевалась утром, причёсывалась и садилась к роялю для занятий с учениками.

В последнее время бабушка тяжело переживала перемены, происходящие с моим отцом (её Гуленькой). Дело в том, что отец влюбился! Бывали у него и раньше увлечения, но здесь случилось нечто непредвиденное даже им самим. Предмет его переживаний жил в глухой Новгородской деревне и преподавал в сельской школе историю и географию. Звали её Люся. Крашеная блондинка, с шиньоном в виде причёски «бабетта». У неё были зелёные узкие глаза, тёмные густые брови, светлая веснушчатая кожа и от неё всегда сильно пахло луковичным потом. При этом она употребляла духи с резким запахом гвоздики, шлейф всей этой смеси оставался далеко за ней. С Люсей меня познакомил отец. Жили мы тогда всей семьёй в деревне, где в очередной раз отец намеревался купить или построить большой дом. Было жаркое лето, помнится, я сидела на крылечке и что-то рисовала, а тут увидела отца в сопровождении коренастой, крепко сбитой молодой женщины.

«Вот, Люсенька, это моя дочь. Мы с ней вместе книжки рисуем». Отец поднялся с нами на второй этаж нашего строящегося дома-мастерской и стал показывать иллюстрации к книге. Люся улыбалась и, проявляя культурный интерес, молчала. Когда она уходила, то подошла к моему столу, за которым я уже что-то продолжала рисовать, протянула мне руку для прощания и как-то смущённо, по-воровски, пряча глаза, улыбнулась. Рука была мокрая от волнения и тяжёлая. Отец прошёл провожать Люсю, а я вспоминала её улыбку, и мне стало казаться, что здесь что-то не так, этой женщине есть, что скрывать от меня. Да и в доме она чувствовала себя неуютно, всё торопилась уйти.

С каждым днём у отца менялось настроение, он был раздражён, всё время куда-то убегал, уезжал в районный центр или Новгород «по делам», а возвращался весёлым.

Ночью он плохо спал и стал кричать страшным голосом во сне, к нему вернулся его нервный тик, но как только я старалась с ним заговорить, спросить, что происходит, он уходил от ответа. С мамой было ещё хуже, начались совершенно безобразные сцены, которых она не выдержала и уехала в Ленинград. Она по-женски, все, конечно, понимала, со мной не говорила, ну а я старалась всячески оберегать её от замеченных странностей в поведении отца.

В один из солнечных тёплых дней я пошла погулять в лес. Пять минут по деревне, и я в окружении милых ёлок, берёз, тишины, запахов травы и нагретой солнцем хвои. Я шла по тропинке знакомым маршрутом, здесь я любила каждый кустик и поворот. Прогулка ежедневная на сорок пять минут с собиранием грибов и голубики.

Остановилась «поклевать» ягоды и вдруг дуновение теплого хвойного ветерка принесло мне запах луковичного пота с гвоздичными духами. Помню, что я как-то инстинктивно посмотрела на тропинку – на песке чётко были видны следы двух пар ног. Сандалии моего отца и продавленная дырочка от женского каблучка. Мне послышались какие-то шорохи, и я припустилась бежать домой.

Прибежала в дом, голова моя полна путанными мыслями, сердце бьётся. Слышу, отец, напевая, поднимается по лестнице, подошёл к столу, нагнулся посмотреть, что я рисую, и... тот же запах, от которого я зажмурила глаза, как от ослепления.

Мне стало так тяжело и тошнотно на сердце, охватило предчувствие чего-то неизбежного и поворотного в нашей жизни. Вышла из дома, спустилась к реке, долго сидела и плакала, совсем как маленькая девочка.

А ещё через пару недель отец говорил с мамой и сообщил ей, что хочет развестись, так как он влюблён и не может больше лгать и вести двойной образ жизни, что он хочет правды в отношениях. Он всегда любил правду?! Даже жестокою, тяжёлою, непереносимую близкими людьми; но эта, правда, по его мнению, должна быть разделённой тяжестью. («Как же так, мне плохо, а ты, мол, в прекрасном неведении пребываешь»).

– Но я очень надеюсь, что вы обе полюбите Люсю и сможете ей помочь, особенно в её дальнейшем образовании. Она обладает особенным чутьём и способностями к искусствоведению. Думаю, что можно через пару лет подумать об Академии художеств.

– Папа, а как же её муж и дочь? Что же, они согласны, с твоим предложением взять Люсю замуж? – робко спросила я.

– Да с мужем у них давно нелады. Он алкоголик, работает на тракторе в колхозе... они разные люди. А девочка премилая, видимо, будет жить с нами.

Совершенно одурённый своей деревенской красавицей, он видимо совсем не представлял их будущей совместной жизни. Рай в шалаше предстоял быть тяжёлым и изолированным.

Конец наступил достаточно быстро. Отец получил развод, мама не препятствовала, она только плакала по ночам. Почему-то тогда мне казалось, что это не просто развод (после двадцати восьми лет жизни), а начало падения отца в пропасть. Мне хотелось удержать его от этого страшного шага, попросить переждать.

Всё было напрасно.

Муж-тракторист, узнав о намерениях моего отца, пригрозил, что убьёт его. А тонкая и чуткая Люся за такие намерения побила своего мужа поленом, после чего он отлёживался довольно долго в больнице.

Причём всё это происходило на виду и на радость местного деревенского населения, что было почище «мыльных» мексиканских сериалов в стиле «богатые тоже плачут».

Но свадьба не состоялась, невеста сбежала к мужу-алкоголику, не выдержав трёхмесячного окультуривания в городе на Неве. Через пару лет отец встретил её на станции Малая Вишера, в заплёванном и вонючем зале ожидания. Она не была причёсана как «бабетта», а была стрижена, курила папиросы «Беломор», от неё пахло спиртным. Из деревни она всё-таки уехала и поселилась ближе к городу, на станции Малая Вишера. Продолжала преподавать в школе, муж к этому времени уже скончался от белой горячки, а дочка выросла в барышню и стояла за стойкой вокзального буфета.

Мы растворим любовь в стакане кусочком льда,
И недопитое оставим после себя, допить другим.
Нальём опять и вспомним, потом помянем, потом заспорим,
И долго будем убеждать друг друга, что было и прошло,
И что подруга друга жила с тобой, а может быть с другим...
Потом окажется, что друг уже далёко,
А ты его всё вспоминал, как будто бы он был, за два квартала,
И совсем живой...
Мы растворим любовь кусочком льда в стакане,
А недопитое оставим...
Остаток памяти не выпадет в осадок
И ты не сможешь по нему гадать как прежде,
по гуще выпитого кофе.
Осадок памяти прозрачен и растворим, и тонок этот слой.
Он только между нами, да той подругой друга,
Которая жила и где-то там живёт...
Не хочешь ли мой друг ты всё начать с начала?

Будто что-то надломилось в отце и неудачная любовь положила начало шальной жизни. Он умел влюблять в себя женщин, сам увлекался, каждый раз дело доходило до драматических развязок и «любовных мук», но от всего этого страдали мы с мамой. Отец продолжал у нас бывать, хотя переехал в Парголово, где обустроил себе старый дом под мастерскую. Отношения в нашей семье, которую он хотел бы продолжать «окормлять», строились по принципу «всё понять, всё простить». Он не мог обрезать пуповины, связывающей его с моей матерью и, конечно, со мной. Его сумасшествие (а я в этом уверена) выливалось в абсолютно садистские демонстрации оргий, которые он устраивал в Парголово и о которых он нам докладывал в порядке покаяния. Мрачайшая достоевщина была приправлена театральным, показным комплексом вины. Вспоминая 1976 год, могу сказать, что он связан у меня со счастливым событием и началом ещё больших несчастий. В этом году у меня родился сын, я назвала его в честь деда – Иван. Почти сразу после его рождения мне стало ясно, что живу я со своим мужем плохо и ничего близкого между нами нет, даже сыном он был не увлечён. Одновременно с рождением Ванюши моя мама тяжело заболела, ей была удалена опухоль. Мне было страшно за маму, я не могла представить себе, что потеряю её и мы останемся вдвоём с Иваном. А как нам хорошо жилось втроём!

Мой отец распоясался в этот момент не на шутку. У него возник новый роман, и как результат страстной любви – рождение ребёнка. Он звонил мне по телефону несколько раз в день, не для того чтобы узнать о состоянии здоровья мамы или Ивана, а для того, чтобы рассказывать о своих сердечных переживаниях, прося советов. Мне пришлось положить этому конец, попросила его больше к нам не звонить и не приходить.

Ещё до нашего разрыва я несколько раз бывала у него в Парголово. Старый, большой полуразвалившийся дом, он своими руками сумел привести в порядок. Дом стоял на холме, вокруг был большой дикий сад, целый кусок леса уходил под горку. Мои редкие посещения, ещё до нашей размолвки, каждый раз кончались ссорами. Когда-то мы могли интересно и свободно обсуждать самые жгучие политические события, особенно это касалось услышанного по разным «вражеским голосам». Теперь разговоры и доводы с его стороны сводились к невероятному возмущению, совершенно карикатурной реакции. Он выбегал из дома, носился по участку, выкрикивая что-то избитое и пошлое из передовиц газеты «Правда». Так что у меня возникло подозрение, а не напичкан ли его дом микрофонами. Иностранцев у отца бывало много, больше всего западные немцы из консульства, иногда американцы. Им было интересно общаться с полудиссидентом, весёлым, умным, «свободным» человеком, талантливым художником. Часто в его доме бывал молодой художник В. О., многих иностранцев приводил и он. Вряд ли эти гости подозревали обратную сторону пашлычных пиршеств под цветущей сиренью.

Бредовость выпяченно патристических разговоров о Родине и русских как о великой нации, которую ждёт великое будущее, с вполне антисемитским душком напоминало по стилю генерала Макашова, только тогда мой папа всё это выдавал за «новое мышление». Всё меньше узнавая в этом человеке своего отца, я задавалась вопросом, «а правда ли он так думает, или это всё напускная игра?» Бывали и странные моменты, когда он становился прежним; так однажды он мне вдруг заявил: «"Они" хотят добраться и до тебя. Но уж тебя я "им" не отдам! Я тебя от "них" спасу!»

Он всегда говорил так, как бы не до конца раскрывая «их», тех, от которых он должен меня спасать. Но он знал, что я понимаю и догадываюсь, о ком идёт речь.

Прошёл год как мы перестали видеться с отцом. После долгого периода восстановления сил, я уговорила маму пойти работать. Ей повезло, она попала в ансамбль Якобсона, где стала заведовать костюмерным цехом. Более того, балетный ансамбль Якобсона был тогда в зените славы, они много гастролировали. Эти поездки, чудесный коллектив, интересная работа помогали маме не думать о своём душевном и физическом состоянии.

Однажды утром раздался телефонный звонок и совершенно раздавленным голосом мой отец попросил меня встретиться с ним. Свидание было назначено в Летнем саду.

Была глубокая осень, и сильный ветер с Финского залива, поднимал воду в Неве; это тревожное состояние природы перед наводнением всегда вызывало во мне чувство беспокойства. Я пришла раньше отца и помню, что, пока ждала его, у меня в голове всплывали картины детства, мои прогулки с нянюшкой, санное катание с берега Лебяжьей канавки. Счастливое детство давно кончилось.

Вид отца потряс меня. Он был неопрятен, с отросшей бородой, и каким-то безумным взглядом. Как я ни была сердита на него, но его отчаянное душевное состояние вызывало сострадание. Отец кинулся меня обнимать, будто мы расстались вчера и совершенно бессвязно шептать свой рассказ. Мы шли в сумерках Летнего сада, белые статуи, как призраки и единственные свидетели, укоризненно смотрели на нас.

С одной из немок, которые отца навещали в Парголово, он завёл роман, более того, дело дошло чуть ли не до помолвки. И вот компания из её друзей пригласила отца прокатиться до Выборга на посольской машине, погулять на Финском заливе. Поездка намечалась с пикником, коньяком и заморскими угощениями.

Они едут в немецкой машине с консульскими номерами по Приморскому шоссе и проезжают первый пост ГАИ, потом второй и никто их машину не останавливает. Немцы удивляются, хохочут: «А странно, что у нас сегодня никто не проверяет документов?! Обычно ГАИшники себя ведут не так спокойно, а бывало, за нами и мотоциклист едет, "охраняет", наверное, это благодаря Игорю, который у нас как ангел хранитель...» Кто-то из компании подхихикнул, а отец весь взмок от холодного пота.

– Правда ли, что Вы сотрудничаете с «органами»? – последовал вопрос.

Машина продолжала нестись по шоссе, слева стальным блеском отливала вода залива, справа мелькали сосны. Отец мне сказал, что он им признался. То ли от неожиданности всей ситуации, то ли в надежде на сотрудничество уже с другими «органами» (это моё предположение), в надежде на будущее избавление от ГБ. Где тут была игра, на кого он работал «за страх и за совесть», разыгрывая комедию двойника, я до сих пор не знаю.

В тот момент передо мной стоял бледный, совершенно истерзанный человек, но странно, что страха я в нём не почувствовала. Конечно, он работал на КГБ, и даже если станет двойником, то только для пользы дела «новой России», которая будет очень скоро и придут совсем другие, молодые и образованные люди. Ни о какой измене речи быть не может и этот случай, а, может быть, удача помогает осуществить его давнишние планы. Один из «них», молодой специалист по Германии, прекрасно знающий немецкий, обещал ему помогать советами. Хорошо, что он пока ещё в Ленинграде... А главное, он стал ещё нужнее, ещё незаменимее, более ценим и уважаем у «них».

Неожиданное путешествие

С некоторого времени я стала замечать, что даже отпетые циники в ЛОСХе, всяческие партийные боссы не любят отца, а старые друзья, которые так часто и весело проводили у нас вечера, сторонятся его. Он сам предпочитал заводить новые знакомства, хотя с возрастом старых друзей «на переправах не меняют». С мамой и со мной у них сохранились самые хорошие и дружеские отношения, и их отстранённость от отца никак не была вызвана разводом моих родителей. Отец стал источать из себя «нечто», что инстинктивно отталкивало от него близких друзей.

Он жил «одиноким и обособлено» в Парголово, для многих это было странно и вызывало массу таинственных разговоров, проще сказать, сплетен. Он был явно увлечён своей ролью в столь грозном органе, каким является КГБ, и полагаю, что уже работал с энтузиазмом и увлечённо. Его бесконечные вереницы женщин завершились браком на одной из них, и у них родилась дочь. Звали новую жену Наталия Юрьевна, она была моложе его на двадцать пять лет и теперь они, втроём, продолжали жить в Парголово. Казалось, что папа счастлив и с воодушевлением строит новый очаг. После нашей последней встречи в Летнем саду прошёл почти год, больше он нам не звонил. Мы жили с мамой, Ванюшей и моим скучным мужем. К счастью, он надолго уезжал на гастроли, меня это очень устраивало, давало возможность спокойно работать и встречаться с милыми моему сердцу друзьями.

Шёл январь 1978 года. И вот, однажды раздался телефонный звонок, и отец попросил разрешения зайти к нам для серьёзного разговора в кругу «нашей семьи». Меня поразило определение «наша семья», которая давно отошла в прошлое. Но эти слова, сорвавшиеся с уст отца, были сказаны неспроста. Отец принёс письмо, которое он получил от своей родной тётушки Ирины из Швейцарии (той, «засушенно-голубой»), которая умоляет его приехать в Женеву, где живёт старшая, вторая из двух сестёр моей бабушки – Ниночка.

Тёте Нине было уже девяносто семь лет, и она хотела познакомиться с племянником. В письме говорилось, что все формальности с приглашением будут скоро закончены и отец получит его по почте. Весь вид отца выражал растерянность от неожиданной перспективы поехать впервые «за кордон». Он стал нам говорить, что никуда не поедет, что делать ему там нечего, тем более что денег на поездку у него нет. Вид у него был жалкий. И казалось, что в его голове прокручивалось своеобразное кино, мелькали кадры какого-то нового фильма, пока ещё с неизвестным концом. Но я заметила по отцу, что идея поездки его увлекает. Новая авантюрная театральная постановка начинала рождаться в его голове. Меня удивила внезапность возможности такой поездки, тётушек можно было повидать и раньше. Может быть, это «они» решили, что отец готов для поездки в «гости к родственникам». С нами можно было уже не советоваться, ведь у него была законная жена и маленькая дочь.

– А причём здесь мы? – спросила я отца.

– Я поеду только в том случае, если ты Ксюша, переедешь на время моего отсутствия в Парголово.

Столь странного поворота я не ожидала.

– А как же Наталия Юрьевна и Дунечка?

– Я их отправлю в Волгоград, к матери Наташи. Бабушка давно хочет пожить с Дуней и они с удовольствием проведут двадцать дней на Волге.

Насчёт удовольствия жить зимой в голодном Волгограде я сильно сомневалась, а вот почему он хочет их «сплавить», я не понимала. Чем-то они ему мешали в его отсутствие. Не хотел он свой «дом с привидениями» оставлять на свою молодую жену.

Моя голова лихорадочно соображала и представляла все подвохи и западни, в которые я могла попасться, приняв предложение пожить у отца двадцать дней. Но, как я ни думала, ничего подозрительного мне на ум не приходило.

Надо сказать, что я по глупости своей согласилась. Мама меня потом всегда за это корила.

Получение приглашения, оформление документов, сбор соответствующих бумаг в Союзе художников (характеристика плюс согласие жены) и оформление всего этого в ОВИРе заняло месяцев пять. Всё было готово к началу октября. Виза была ему выдана на двадцать дней. Семью свою ещё в конце августа он отправил на Волгу и начал закупать продукты. Кто-то ему сказал, что нужно ехать со своими консервами. Один из двух чемоданов был забит «завтраком туриста», колбасой и сгущённым молоком.

Чемодан был неподъёмным. Ну, а второй был собран с особым тщанием, в него он уложил лучшие свои туалеты. Папа любил красиво одеваться, и умел, что называется, носить вещи с шиком.

Он пришёл прощаться с «нашей семьёй» в канун своего дня рождения. Принёс мне ключи от своего дома. На следующий день седьмого ноября он уезжал на поезде через Москву в Женеву. Помню, что мама стояла у плиты и что-то готовила, а я сидела тут же за кухонным столом, и вдруг отец с рыданием бросился обнимать маму с жалобными возгласами «Прости, прости за всё...» Потрясённая мама не знала, как реагировать на столь неожиданный всплеск чувств. Потом отец сидел у нас на кухне за столом, охватив голову руками, закрыв глаза и просил прощение за все горести, причинённые нам в прошлом. Всё это было очень трогательно, но тогда ни я, ни мама, одурманенные его раскаянием, не придали значения столь странному прощанию.

* * *

В Женеве ему предстояло жить у тёти Нины, в так называемом «Foyerdela femme», которое находится в управлении Армии Спасения, где она прожила долгие годы. Тётя Нина, довольно рано выйдя за муж, перешла в протестантство и стала проповедовать. После смерти своего мужа, датчанина, она перебралась в этот «очаг», где её все любили, многие приезжали издалека поговорить с ней, посоветоваться – считалось, что у неё был дар провидения.

После отъезда отца я переехала с Иваном в Парголово. Стояла очень холодная осень, а к концу декабря грянули настоящие морозы. Дом был огромный, в два этажа, плохо отапливался и я довольно быстро поняла, что сделала глупость, согласившись «сторожить» его ради «дачи» для Ивана. Помощи в хозяйстве ждать от моего супруга не приходилось, он нас навистил один раз и сказал, что колка дров – это не для него.

В результате мы с Иванушкой остались вдвоём. Поднявшись как-то на второй этаж, я решила просмотреть кое-какие книги и вдруг на самом видном месте, на рабочем столе отца вижу листок бумаги: «в случае моей смерти (а я мысленно подумала «невозвращения») прошу распорядиться моим имуществом в следующем порядке...» И дальше большой список с именами и фамилиями, где и что лежит, сколько он должен тому или иному человеку, как поступить с его домом, картинами и прочим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.